

# ГРИГОРИЙ ФЕДОСЕЕВ

СИБИРИАДА

A man in a heavy, olive-green winter coat with a fur collar and a brown belt stands in a snowy mountain landscape. He is wearing a grey fur hat and has a serious expression. The background shows snow-covered evergreen trees and rocky peaks under a blue sky.

В ТИСКАХ  
ДЖУГДЫРА

Сибириада

Григорий Федосеев  
**В тисках Джугдыра**

«ВЕЧЕ»

1956

## **Федосеев Г. А.**

В тисках Джугдыра / Г. А. Федосеев — «ВЕЧЕ»,  
1956 — (Сибириада)

ISBN 978-5-444-49081-5

В середине прошлого века через суровую тайгу двигалась геодезическая экспедиция: люди прорубали проходы, разбирали завалы и тянули по снегу груженные нарты. Упавшие деревья преграждали путь, звенели топоры, выли ледяные ветры, и ревели дикие звери... Вел экспедицию отважный инженер-геодезист Григорий Анисимович Федосеев, посвятивший двадцать лет своей жизни исследованию Сибири. Его насыщенные документальными событиями дневниковые записи легли в основу захватывающих дух произведений.

ISBN 978-5-444-49081-5

© Федосеев Г. А., 1956

© ВЕЧЕ, 1956

## Содержание

В тисках Джугдыра	6
Часть первая	6
I. Экспедиция едет на Дальний Восток. – Мы летим над Становым. – Шантарские острова с высоты птичьего полета. – Рождение Кучума. – Последние дни в штабе экспедиции	6
II. Проводы Королева. – Незаконченный ночной разговор. – Сборы в далекий путь. – Вылет на косу. – Тревожная радиограмма	17
III. Случай у палатки. – Пленник в лагере. – Бегство. – В Баку на Шайтан-базаре. – Возвращение. – Последний привод в милицию. – Встреча на черноморском пляже	25
IV. К берегам Охотского моря. – На подступах к седловине. – «Джугджур гневается». – Какое счастье огонь! – Эвенкийская легенда. – У подножия Алгычанского пика	39
V. Поиски затерявшихся людей. – Догадка проводников. – Встреча с обреченными. – Снова вместе. – Возвращение в бухту. – Расставание с Королевым	50
Часть вторая	61
I. Колхозный смолокур. – Знакомство с Пашкой. – Голубая лента. – Избушка на краю бора. – Пашка-болельщик	61
II. Встреча с проводниками. – На нартах в далекий путь. – Прошлое Улукиткана. – Засада на волков. – Купуринское ущелье. – В плену у наледи. – Вот и Джугдырский перевал	71
III. Буран в горах. – В лагерь пришли чужие олени. – Поиски неизвестных людей. – Вниз по Кукуру. – Розыски собак. – Лесная письменность	89
Конец ознакомительного фрагмента.	98

# **Григорий Федосеев**

## **В тисках Джугдыра**

© Федосеев Г.А., наследники, 2017

© ООО «Издательство „Вече“», 2017

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2017

## В тисках Джугдыра

*Не ковром там будет постлана ему дорога, не с приветливой улыбкой встретит его дикая пустыня, и не сами ползут ему в руки научные открытия. Нет! Ценою тяжелых трудов и многообразных испытаний, как физических, так и нравственных, придется заплатить даже за первые крохи открытий.*

*Н.М. Пржевальский*

### Часть первая

#### **I. Экспедиция едет на Дальний Восток. – Мы летим над Становым. – Шантарские острова с высоты птичьего полета. – Рождение Кучума. – Последние дни в штабе экспедиции**

Поезд, монотонно постукивая колесами, уходит все дальше и дальше на восток. Мелькают сибирские села, заснеженные полотнища пашен и лугов, березовые рощи. То вдруг из-за глубоких оврагов выползет бугристая степь, исписанная стежками заячьих и козьих следов, то подступит к дороге могучая тайга, убранная гирляндами пушистого снега, и паровоз, разбрасывая клочья дыма, с веселым свистом пронесется, перекликаясь с голосистым эхом.

В окно купе, разрисованное узорами февральского мороза, заглядывает тощий месяц. Все мои спутники, утомленные сборами последних дней, спят. А я продолжаю бодрствовать. Мысли блуждают где-то далеко. Воображению рисуются заснеженные вершины, возвышающиеся над глубокими цирками<sup>1</sup>, бурные реки, проложившие себе путь по дну мрачных ущелий, дремучая тайга, бесконечные походы, встречи со зверями, ночевки у костра...

Достаю тетрадь, втиснутую в брезентовую корочку и предназначенную для дневниковых записей. На чистые страницы не легла еще ни одна строка, на них не сделано ни одного рисунка. Я и сам еще не могу предугадать, какими событиями заполнятся листы дневника. Открываю тетрадь и посередине страницы пишу:

ссс

«Сбылась мечта, мы едем к берегам Охотского моря.

2 февраля 1949 года».

/ссс

Обширный край, прилегающий к Охотскому морю и пересеченный громадами хребтов Джугджура и Джугдыра, а также восточной оконечностью Станового, давно привлекал внимание исследователя. Туда редко заглядывал пытливым глаз разведчика недр. Отдаленные времена не оставили там после себя ни насыпных курганов, ни других памятников древней или более поздней культуры. Людские потоки обходили стороной это уединенное пространство Дальнего Востока, оно никогда не было ареной человеческой деятельности. Но тем сильнее росло наше желание проникнуть туда. Ведь центральная часть этого края и в топографическом отношении является почти «белым пятном». Имеющиеся карты весьма бедны подробностями, не отображают действительной картины местности и содержат следы явной незаконченности.

Весть о переезде экспедиции застала нас в Тувинской области, где мы вели геодезические работы. Новое задание обрадовало всех, в ком жила неутомимая натура путешественника.

---

<sup>1</sup> Цирк – горная котловина, замкнутая с трех сторон скалами.

Товарищи же, недавно работающие с вами, не без сожаления думали о том, что придется променять солнечную Туву с ее гостеприимным народом на хмурое Охотское побережье.

И вот мы на Дальнем Востоке. Штаб экспедиции расположился в старинном малоприметном городе Зее. В конце XIX века этот город прославился золотой горячкой. Он был расположен на пути из богатых приисков в жилуху<sup>2</sup>. Тогда золото добывали первобытным способом, ценою огромных усилий, а зачастую и жизни. Если старатель не умирал от голода или цинги и ему посчастливилось намыть золотой песок, то это было только началом его несчастий. По пути к населенным пунктам его не щадила глухая тайга и бурные реки, на тропах подстерегали бродяги. Не каждому смельчаку удавалось добраться до города. Здесь старателя встречали на тройках с бубенцами, купали в спирте, выстилали перед ним улицы кумачовыми дорожками. Женщины и авантюристы окружали его, устраивали оргии. Когда же золото переходило в ненасытную мощную туеядцев – купцов, кабатчиков, содержателей притонов, – старателя, еще не отрезвевшего после выпитого спирта, нередко вывозили за город и сбрасывали на свалку.

Время стерло с города следы позорного прошлого. Он посвежел, вырос и живет, как вся страна, созидательной, трудовой жизнью.

В начале февраля экспедиция была почти в полном сборе. В состав ее входили геодезисты, топографы, астрономы, аэросъемщики и географы. Целью экспедиции было создать карту огромной территории, прилегающей к Охотскому морю. Отрядам предстояло проложить триангуляционные ряды, сделать аэросъемку всего района, определить высоты хребтов, возвышенностей и равнин, распутать истоки рек, проследить тропы, уточнить растительный покров, дать характеристику почвам и собрать другие сведения, необходимые народному хозяйству страны.

Мы знали, что выполнение этой задачи потребует от участников экспедиции большого напряжения. Никто не мог предугадать, какие удачи или разочарования ждут нас. В нашем распоряжении мощные самолеты, новейшие высокоточные инструменты и приборы, хорошее снаряжение, но все это не избавит от непосредственного столкновения с дикой природой. В этом крае большинство из нас новички. Мы не знаем его климатических особенностей, не знаем, где лежат проходы через хребты или броды через реки; не представляем границ тайги, расположения марей. Мы предугадываем по опыту, что действительность внесет изменения в наши предположения и расчеты, поставит нас перед многими неожиданностями. Кое-что придется решать на месте, в зависимости от обстановки и только своими силами. Дикая природа всегда пытается убедить человека в его беспомощности, но она бессильна противостоять человеческому разуму, смелости и упорству.

В штабе экспедиции день и ночь кипит работа, упаковываются продукты, снаряжение, подбирается спецодежда. Стук молотков, звон посуды, несмолкаемый людской говор сливаются в нестройный гул. Царившая во дворе суета, кажется, могла заразить самого большого ленивца и возбудить зависть у бывалого человека.

Тихо только за складом, где идет проверка инструментов. Там инженер Евдокия Ивановна Макарова занята исследованием большого теодолита. Она стоит у столба, на котором установлен инструмент, и легким движением пальцев вращает трубу. Затем наклоняется над микроскопом-микрометром и тихо произносит несколько цифр своему помощнику.

На Евдокии Ивановне черное, строгого покроя пальто. Светло-бурым воротником, небрежно отброшенным на плечи, играет ветерок. Весь облик Макаровой, от пышных волос с затейливыми локонами до изящных туфель, хранит отпечаток домашнего покоя. Северный ветер еще не обжег розового лица и не смахнул с влажных, чуточку припухших губ свежести. Сейчас в этой миловидной девушке почти ничего не выдает страстного и смелого полевика,

---

<sup>2</sup> Жилуха – так таежники называют обжитые территории России.

каким она стала впоследствии. Одни лишь открытые глаза выражают молодой и стремительный девичий задор.

У входа в склад толчется толпа парней. Сквозь смех слышится чей-то голос низкого тона:

– Ты что гутаришь, не выпускают таких номеров? Брюки же нашел на мой рост, значит, есть и сапоги. Ищи!

– Зря ты, Саша, ко мне пристаешь. Иди с жалобой в начальству, оно рассудит. Да и сам уразумей: сорок пятый размер не лезет на твою ножку, – язвит кладовщик и тут же добавляет: – Говорю, бери резиновые, они растянутся.

У ворот – Петя Дунин. Юноша кончил техникум и впервые едет в тайгу. Он мечтает стать путешественником, прославиться охотой и уже истратил свой первый аванс на покупку ружья. В воображении своем он, вероятно, пережил уже не одну схватку с медведем.

Петя подпирает плечом столб, мнет в руках варежку и украдкой осматривает девушку со светлыми выразительными глазами, с длинными косами, перекинутыми на грудь, одетую в легкое пальто темно-коричневого цвета. Она старается держать себя с Петей независимо, даже хладнокровно, зная, что за нею следит много любопытных глаз. Они оба молчат, а ведь через час Петя должен уехать далеко и надолго. Он ловит ее руку и прячет за спину. Лицо девушки стыдливо румянится, она смотрит на юношу покорными глазами и нехотя вырывается. К ним подходят две ее подружки, и светлоглазая, посмелев, бочком льнет к Пете, да так они и остаются стоять, словно две сросшиеся березки.

Вдруг слева, где толпились топографы, коротко запела гармонь. Все насторожились, двинулись на звук. Гармонист, кудрявый парень, присев на ящик, пустил на нижних ладах плясовую. Молодежь раздвинулась, кто-то вырвался в круг, пошел вприсядку, перебирая ногами мелкую дробь и в такт шлепая ладонями по голенищам. А гармонь заливается, зовет. Подошли девушки, и в кругу мелькнула голубая косынка. Танцующий парень, встряхнув ухарски головой, ударил каблуками в мерзлую землю и как бы замер в мелком переборе чечетки.

А в маленькой комнате главного инженера Николая Иосифовича Хетагурова душно, хотя никто не курит. Зажатый посетителями в дальний угол, Николай Иосифович целый день не покидает своего места. Стол завален схемами, проектами, фоторепродукциями. Идет распределение участков, о которых никто из присутствующих еще не имеет сколько-нибудь ясного представления. Тут же прорабы знакомятся с техническими предписаниями, договариваются о встречах в тайге.

– Возьмите от меня реку Маю. Никто же не знает, можно ли попасть туда с Алданского нагорья. А если через Становой не пройти? – убеждает Хетагурова начальник партии Владимир Афанасьевич Сипотенко.

Главный инженер поднимает взгляд от карты, лежащей перед ним, устало смотрит на Сипотенко.

– Удивляюсь, Владимир Афанасьевич! С каких это пор геодезисты стали ставить непременно условием, чтобы у них в районе работ были проторенные тропы?

Так день за днем проходило время подготовки полевых подразделений в далекий путь.

За широкой Зеей багровела тайга, опаленная зимней стужей. С юга уже прорывались немые признаки тепла, но ветер еще пережевывал поземкой сухой бродячий снег и по ночам с неба падал иглистый иней. Заброску подразделений в районы предполагалось произвести на самолетах. Но прежде нужно было подыскать площадки для посадки машин. Десятого февраля мы и отправились в рекогносцировочный полет. Со мною на борту самолета главный инженер Хетагуров, начальники партий Сипотенко, Нагорных, Лемеш и два прораба – Пугачев и Лебедев. Нам хотелось, подыскивая площадки, взглянуть с высоты на хребты, тайгу, на границу суши с морем, на острова, чтобы составить общее представление о территории, где предстояло работать.

Самолет стремительно несся вперед, заполняя пространство гулом моторов. Скорость машины достигала трехсот километров в час, но нам казалось, будто мы застыли недвижимо в воздухе, а земля лениво проплывает мимо. Под нами лежала Зейская низина, оттененная по холмам яркой зеленью хвойных лесов.

Крылатая тень самолета то скользила по лиственничной тайге, то ныряла в овраг, то отступая, путалась в глубоких кривунах Зеи. А вддали, у края голубого неба, словно облако, возвышались заснеженные горы. Они как бы надвигались на нас, росли, ширились, становились все более величественными. Это был восточный край Станового хребта.

– Трофим Васильевич, начинается ваша вотчина! – крикнул Хетагуров Пугачеву. – Посмотрите-ка, что за причуды появляются, какая красота!

– Смотрю и дивлюсь. Тут, кажется, сам черт ногу сломит, – ответил тот, не отрываясь от бокового окошка.

– Есть где разгуляться молодцу, – пошутил Лебедев.

С высоты трех с половиной тысяч метров был хорошо виден Становой. Слева, справа и впереди лежали угрюмые цепи гор, уходившие в необозримое пространство. Хребет разворачивался перед нами грандиозной панорамой.

Машина набирала высоту. Но надвигавшиеся горы все еще заслоняли дальний горизонт. Становой хребет там, где он кончается, достигает наибольшей высоты и имеет совершенно дикие очертания. Нас встречали остроглавые вершины, то появляющиеся, то исчезающие за крылом самолета. Всюду виднелись пропасти, нагромождения скал, отвесные стены, окружавшие цирки.

– Тропа!.. – закричал кто-то, припадая к окну.

Внизу показалась узкая полоска взбитого снега – это действительно тропа. Она шла по каменистому гребню наверх, вилась по крутым откосам и терялась среди отвесных скал. Затем снова появилась на вершине остроглавого утеса. Мы были озадачены. Кто проложил ее среди каменных громад?

Самолет плыл низко над хребтом, отчего гул моторов становился как бы сильнее. Вдруг на снежной полоске, окаймляющей сверху обрыв, появилось испуганное стадо крупных зверей светло-желтой масти. Животные бросились к откосу, но почему-то круто повернули обратно и, рассыпавшись, исчезли среди скал. Я успел лишь заметить, что все они были с толстыми рогами. Это, вероятно, снежные бараны, они и проторили тропы по горам.

Становой хребет оборвался так неожиданно, что мы не успели рассмотреть его северные склоны. Самолет стал разворачиваться, изменяя направление. Из-под правого крыла показалась всхолмленная низина – Алданское нагорье. Оно простиралось далеко на север и терялось где-то в мягкой дымке солнечного утра.

Летели долго, кружились над большими озерами и широкими руслами заледеневших рек. Скучно смотреть с высоты на однообразную снежную равнину, то залесенную, то покрытую большими пятнами марей. Ни струйки дыма, ни дорог, ни следа человека. Даже Становой, видневшийся над горизонтом, не освежал пейзажа.

Через час показалось широкое русло Учуга, сдавленное с боков черной тайгой. Машина забирает вправо и идет к стыку трех хребтов: Джугджуга, Джугдыра и Станового.

Воздух прозрачен, даль становится доступна глазу. Мы видим, как на широкую заснеженную марь выскакивают два лося. Они не могут понять, откуда шум, бегут навстречу самолету, затем бросаются в разные стороны и исчезают в перелесках.

Машина все ближе подбирается к горным нагромождениям, заполняющим впереди широкий горизонт. Становой возвышается от нас справа. Продолжая его, тянется дальше, к Охотскому морю, широкая лента Джугджуга. Пролетая приблизительно над границей хребтов, мы увидели истоки реки Май (Половинная).

К югу от Станового – Джугдырский хребет. Глядишь на его вершины сверху, и кажется, что лежат груды камней, давно приготовленные для какой-то грандиозной стройки. Да и стройка уже началась, но произошло землетрясение. Часть территории осела и заросла лесом, другая же, наоборот, поднялась высоко вместе со стенами начатых сооружений, развалинами башен, глубокими выемками, заваленными обломками.

А вот и река Мая. Глубокой щелью она прорезала горы. Высокие гольцы склонили над ней свои вершины. Каким-то чудом над ущельем удерживаются каменные громады скал. Кажется, дотронься до них, и всей тяжестью своей сорвутся они в бездну.

Тесно Мае в крутых берегах. В бешеной злобе силится она раздвинуть выступы скал, разметать стремительным потоком каменистые перекааты, срезать кривуны. Но пока что река не разработала себе сколько-нибудь покойного русла. Почти треть своего пути Мая течет в лисках высоких гор.

Нас это открытие встревожило. Хаотические нагромождения гор вблизи реки вряд ли позволят нашим подразделениям беспрепятственно передвигаться в этом районе. А миновать его мы не можем и, значит, будем вынуждены столкнуться с препятствиями, преграждающими проходы к этой своенравной реке и ее многочисленным притокам.

Самолет, миновав Джугдыр, повернул на восток к заливу, к Удской губе, где мы должны приземлиться, чтобы заправить машину. Летим над широкой долиной. Местность резко изменилась. Под нами лежали волнистые мари, рассеченные многочисленными речушками и обмежеванные жалкими перелесками. Здесь летом путешественника поджидает гнус, топи и непроходимые болота. Тут все однообразно и, как в пустыне, почти нет ориентиров...

На ледяном «аэродроме» нас встретил заместитель начальника экспедиции Рафаил Маркович Плоткин, прибывший сюда несколько дней назад для организации оленьего транспорта и заброски продовольствия в глубину приохотской тайги. О нашем прибытии ему сообщили из штаба.

– Пошли, пошли, – торопил он нас, – ко мне в палатку, угощу строганиной, пальчики оближете!

Возле палатки стоял готовый в путь олений обоз в пятьдесят нарт, нагруженных мукой, ящиками, тюками. Груз пойдет в горы, в местоположение базы нашей топографической партии.

Рафаил Маркович отдал каюрам последние распоряжения, те покурили, вполголоса поговорили между собой, и обоз, вытянувшись в цепочку, двинулся на запад.

С моря тянула холодная поземка. Ветер, роясь в снежных сугробах, срывал искристую пыль, бросая внутрь материка. На берег со скрежетом выпирал лед, сдавленный разыгравшимся морем. Огромные льдины, вздымаясь, падали, потрясая воздух глухим гулом.

Морской холодный ветер звонко трепал борта палатки, но внутри было тепло. Нас действительно тут поджидали: на свежей еловой хвое, устилавшей пол, стояли сковородка жареной наваги и огромная эмалированная чашка кетовой икры, пересыпанной завитушками мелко нарезанного лука. На раскаленной печке доваривалось мясо, распространяя аппетитный запах какой-то острой приправы. Мы стали размещаться.

– Посмотрите, на что способно Охотское море, – похвалился Плоткин, показывая крупную кету величиною с хорошую семгу. – Редкий экземпляр, к тому же свежий.

– Кирилл Родионович, имеете возможность блеснуть своим талантом, – сказал Хетагуров, усаживаясь на пол и по-кавказски подбирая под себя ноги.

– Это вы насчет строганины? Можно. Но оговариваюсь: если не получится – не обижайтесь. Я ведь знать не знаю: с головы рыбу стружат или с хвоста. – Кирилл Родионович Лебедев, лукаво улыбаясь, достал из-за пояса увесистый нож уродливой формы и добавил: – Не пугайтесь, нож собственной конструкции.

Он ловко отрубил у кеты голову, хвост, содрал со спины кожу, и в чашку полетели тонкие, словно хрустальные, стружки розовой мякоти. Они на лету свертывались в трубки. Их обрызгивали уксусом и посыпали черным перцем.

– Настоящая строганина должна быть с хрустом, что твой хворост. Мы ее сейчас выставим на мороз, пусть крепнет... – Лебедев, приподняв борт палатки, высунул чашку со стружками на холод.

– Опять ждать? Я больше не согласен. Да и к чему такая жертва? Начинаем с наваги! – послышался из дальнего угла голос начальника партии Нагорных.

– Правильно! – поддержал его Хетагуров. – Ну-ка, наберите мне в ложку икры. Смелость города берет...

– Товарищи! – взмолился Кирилл Родионович. – Минуту терпения, сейчас стружки поспеют!

И как бы в доказательство за палаткой что-то аппетитно хрустнуло.

– Слышите, лопаются, значит, правда, спеют... – торжествовал «повар».

Хруст повторился еще и еще, затем кто-то подозрительно чавкнул, зарычал. Хетагуров приподнял борт палатки. О ужас! Две лохматые собаки в жестокой схватке оспаривали свое право на строганину в чашке.

– Ишь вы, проклятущие! – взревел не своим голосом Кирилл Родионович, выскакивая наружу.

Собаки огрызнулись на него и рысцой потрусили в поселок. Кирилл Родионович, догоняя их, тяжело бросал вперед ноги, что-то кричал и грозил своим уродливым «булатом».

– После такого экзотического блюда, как строганина с хрустом, давайте перейдем к чему-нибудь более обыденному. Это надежнее. Предлагаю начинать с мяса, – заговорил Пугачев.

За палаткой еще долго чертыхался Кирилл Родионович. Плоткин с грустью смотрел на обрезанный скелет кеты.

Пока завтракали, машину заправили, и вскоре мы снова были в воздухе. Летим на восток. Под нами море. Огромные сжатые ветром поля льдов застыли, упираясь в берег. За ними в лучах солнца блестит вода. И где-то уже совсем недалеко видны расплывчатые силуэты островов. Вот они точно ожили, двинулись навстречу, обходя со всех сторон самолет. Машина забирает влево и идет над Феклистовым и Большим Шантарским островами. У восточных берегов их властвует шторм. Какая величественная картина – буря на море в солнечный день! От далекого горизонта и до крайних островов все кипит расплавленным серебром. Нельзя смотреть. Разыгравшиеся волны одна за другой разбиваются о выступы скал, дробятся о камни. Постоянная битва двух могучих сил. С одной стороны, упорство скал, с другой – ярость ненасытного моря. словно рать, оберегающая рубеж материка, многочисленные острова уперлись в море неровными крутыми берегами да рифами. Волны лижут их, захлестывают, отступают и снова бешено бросаются на шторм. Куда ни взглянешь, всюду следы разрушений – груды свалившихся камней.

На островах нам не удалось наметить подходящую площадку для посадки самолета, и мы повернули обратно.

Возвращаясь, летели над мелкими островами, расположенными близ материка. Они представляют собой остатки высоких гор, размытых морем, некогда вторгшимся на территорию суши. Среди них есть небольшие островки, сложенные из одних скал, без растительного покрова. Это излюбленные места морской птицы. На них, видимо, и располагаются птичьи базары. Граница суши обозначалась на большом расстоянии резкой чертой скал, местами высоко поднимающихся над заледеневшим морем.

В шесть часов вечера машина приземлилась.

Ночь провели в штабе. Теперь мы имели некоторое представление о территории предстоящих работ и могли более правильно распределить силы. Пришлось изменить намеченный

ранее план, произвести перегруппировку в партиях, усилить более стойкими людьми подразделения, отправляющиеся на Становой и Джугдырский хребты. В район со сложным лабиринтом озер, марями, затажными болотами и предательскими зыбунами был назначен топограф Виктор Харьков, один из опытных наших техников. Работы на реке Мае решено было не развешивать до подробного обследования проходов по ней.

Часть подразделений уже была готова к выходу. Но переброска их задерживалась, пока площадки, намеченные нами при вчерашнем полете, будут детально обследованы и подготовлены к приему тяжелых машин. Эту работу выполнят маленькие самолеты, уже вылетевшие к месту будущих «аэродромов».

Одиннадцатого февраля на железнодорожную станцию Тыгда прибыл наш груз из Тувы. Его сопровождал Василий Николаевич Мищенко, один из старейших работников экспедиции. С ним прибыли и наши собаки Бойка и Кучум. Встречать Мищенко со мною поехал Пугачев.

Когда мы вышли на перрон вокзала, у семафора появился поезд. Гроыхая колесами, паровоз прополз мимо праздной толпы и остановился за багажной будкой. В тамбуре второго вагона стояли собаки. «Узнают ли они меня?» – мелькнуло в голове. Бойку и Кучума я не видел восемь месяцев.

Пугачев с шофером помогали выгружать ящики и тюки. Собак привязали к частоколу. Сразу, словно из-под земли, появилась возле них шумная ватага мальчишек.

Они показывали на Бойку и Кучума, оживленно жестикулировали, о чем-то спорили. К ним подошел еще один парнишка, с коньками подмышкой, несколько постарше, лет одиннадцати.

Он с достоинством судьи выслушал всех внимательно, осмотрел Кучума, затем, порывшись в кармане полушубка, достал что-то съедобное и бросил собакам. Что он сказал ребятам, я не слышал. Но те разом замахали руками и зашумели, как вспугнутая стая воробьев.

Я стоял поодаль, не зная, как напомнить о себе собакам. Но вот по перрону пролетел ветерок. Собаки мгновенно повернулись в мою сторону и настороженно замерли. Ветерок набрасывал на них запах мазута, гари, сосновых досок, сухой травы и сотен людей, находившихся возле поезда. Что же встревожило Бойку и Кучума? Несомненно, они обнаружили мое присутствие. Каким чутьем нужно обладать, чтобы среди стольких разнообразных запахов уловить один, да еще после такой длительной разлуки!

Я не выдержал и медленно зашагал к ним. Бойка и Кучум всполошились. Они тянулись и каждому прохожему, обнюхивали и беспричинно виляли хвостами. Наконец, увидев меня, подняли визг и лай.

Я обнимал их, что-то говорил, они лизали мне руки, прыгали, лаяли. Только люди, которых собаки не раз выручали из беды, могут до конца понять, как дорога была мне встреча с четвероногими друзьями.

Мальчишки отступили от собак, прижавшись к решетке, недоуменно смотрели на меня.

– Дядя, а дядя, это ваши собаки? – вдруг спросил самый бойкий и, пожалуй, самый маленький из них, сдвигая на затылок ушанку и поправляя висевшую на ремне чернильницу.

Известно, что от ребят не так просто отделаться, если у них возник спорный вопрос.

– Алешка спорит, что эти собаки овчарки, а мы говорим: у тех уши длинные, а эти ездовые. Правда?

– Чего ты мелешь – ездовые, ездовые! Выдумает тоже, – перебил его мальчишка с коньками подмышкой. – Посмотрите, у них над глазами белые брови, говорю – овчарки! Только не немецкие, а те, что овец караулят. Я видел на картине.

– У тех овчарок и морда на тебя, Алеха, похожа! Только под носом у них суше, – заметил кто-то, и все рассмеялись.

– Не спорьте, это обыкновенные сибирские лайки, – сказал я, намереваясь помирить ребят.

– Я же говорил, охотничьи, – опять вмешался в разговор самый маленький. – У тяти была такая собака, Валетка, она хорошо утят ловила. А ваши собаки на кого охотятся? – любопытствовал он и, не спуская с меня глаз, спрятался за Алешку.

– Они утят не ловят, вообще птиц не трогают, их дело – медведи, сохатые; при нужде мы их и запрягаем.

– А куда вы их везете? – спросил Алешка.

– В экспедицию.

– А-а-а... – вдруг пропели все в один голос.

Это слово совершенно неожиданно произвело на них магическое действие. Экспедиция, по их мнению, – это непрерывная охота на диких зверей, ночевки у костра, необыкновенные приключения, где можно проявить героизм или найти неслыханные сокровища. Ребята переглянулись и с любопытством рассматривали нас, забыв про спор.

Когда мы начали перетаскивать багаж с перрона и машине, подошел тот же малыш, что первый раз обратился ко мне, и умоляюще посмотрел мне в лицо.

– Дяденька, дайте я до машины доведу одну собаку, – сказал он почти шепотом и пугливо взглянул на ребят.

– Тебя как зовут? – спросил я.

– Андреем.

– Какая же из собак тебе больше нравится?

– Этот, лохматый, – и он кивнул головой на Кучума.

– Ладно, бери, только не упусти.

– Нет, вы дайте сами, а то отнимут.

Не успел я передать ему Кучума, как возле Бойки завязалась чуть ли не драка. Человек пять, толкая друг друга, тянули за поводок. Пришлось вмешаться и мирить.

Ребята помогли нам грузиться. Когда мы уже были готовы тронуться в путь, меня кто-то потянул за рукав. Я оглянулся. Опять Андрей. Он прижался ко мне, прячась от остальных.

– Дядя, а сколько лет берете в экспедицию? – спросил он и покраснел.

– Тебе еще рано об этом думать.

– Ну и что же, что рано, у меня есть старший братишка, может, он поедет. Это все равно...

– Ребята, Андрюшка в экспедицию записывается, собак будет на медведя травить! – закричал Алешка, подслушавший наш разговор.

– Слабо, мать белья не даст, – крикнул кто-то из толпы.

– А я и без белья поеду, – ответил Андрей и шепнул мне: – Дядя, доведите до поворота!

На глазах у всех ребят я помог ему влезть в кузов. Машина тронулась, а мальчишки так и остались стоять на привокальной площади, ошеломленные отъездом Андрея.

За поворотом наш герой выскочил из машины, побежал к перекрестку и стал выглядывать из-за угла, радуясь, что удалось подшутить над товарищами.

Со мною в кабине сидел Кучум. За восемь месяцев разлуки его не узнать: он вырос, оделся в лохматую шубу, в его фигуре, в походке, даже во взгляде уже окрепли черты, присущие взрослой зверовой лайке. Я не мог налюбоваться им и, пока машина пересекала стокилометровое лесное пространство, лежащее между станцией Тыгда и Зея, вспомнил необычную историю его рождения.

Кучум, конечно, не помнит своего первого путешествия. Он тогда был слепым, маленьким, без имени, знал только вкус материнского молока. Но нам очень памятны его первые дни жизни. Произошло это в июле 1947 года. Наша экспедиция работала в горах Большого Саяна, в северо-восточной части Тувинской области. К месту работ мы добирались по одному из левобережных притоков реки Казыра. Когда поднялись на Эргакскую гряду гольцов, нашему взору открылась полная романтизма страна – родина великого Енисея, страна чудесной природы и гостеприимного народа. В течение долгого времени мы любовались развернувшейся панора-

мой. Кажется, ничего нет более привлекательного, чем убранные яркими цветами альпийские луга, с темно-голубыми озерами и серебристо-хрустальными ручейками, сбегающими с белогорья далеко в глубину мрачных ущелий.

Ниже гольцовой зоны тянулись длинные пространства красочных полей, прорезанных ручейками и оттененных строгими линиями кедровых перелесков: А еще ниже, в глубине лесов, лежали изорванные скалами ущелья. И над всей этой панорамой млело в горячей истоме июльское солнце.

Караван шел медленно, проделывая замысловатые петли среди горных нагромождений, заполняющих пространство между долинами Ут и Систиг-Хема. Мы то карабкались по россыпям, взбираясь на хребты, то бесшумно шагали по молчаливому кедровому лесу, устланному зеленым мхом. Приятно вспомнить эту могучую тайгу правобережной стороны Бий-Хема!<sup>3</sup> Пожалуй, нигде нет таких больших, бесконечных кедровых лесов, как именно там, на юге Сибири. И всегда, погружаясь в эту молчаливую лесную чащу, испытываешь чувство подавленности при виде столетних великанов, сомкнувших над тобой свои жесткие кроны.

Мы двигались по Систиг-Хему, надолго задерживаясь в местах сложного рельефа, требовавшего подробного геодезического обследования. С нами путешествовала и Бойка. Она готовилась стать матерью, и мы не знали, что будем делать со щенками. Возить их с собою не представлялось возможным, выбросить – не поднимется рука, к тому же и жаль было Бойку: она отличалась необычайной привязанностью к своим детям.

И вот однажды утром, когда, свернув лагерь на устье Чапши, мы должны были двинуться вниз по Систиг-Хему, возле нас не оказалось Бойки.

– Куда она делась?! Хотел покормить ее – не нашел, не иначе, щениться ушла, – заключил Василий Николаевич, больше всех любивший эту собаку.

Мы кричали, обыскали лес возле лагеря, стреляли, и все напрасно. Собака не появлялась.

– Проголодается – придет, никуда не денется. Напрасно ты так уж забеспокоился, – уговаривал я не на шутку расстроенного Василия Николаевича.

– Нет, не придет, зря болтаете. Бойка прячет щенят от нас. Она понимает, что мы их оставим, ведь мать трудно обмануть. Искать нужно, иначе потеряем собаку, – говорил он, все поглядывая на лес и ожидая, не появится ли оттуда Бойка.

– Чего горюете о собаке, да зверь ее задери! – говорил наш конюх Прохор, нервно посапывая.

– Нет у тебя, дедка, ни капельки жалости. Что Бойка плохого сделала? – с укором спросил его Василий Николаевич.

– Собака, так она собака и есть, непутевая тварь, ехать надо, а ей, вишь, приспичило... – ворчал тот, как скрипучая лесина в непогоду.

Дед Прохор первый год конюшил у нас. Это был на загляденье дородный старик лет шестидесяти пяти. От него так и разлило стариною, обветшалым лесом да богатырской силой. Матушка тайга вскормила его тяжелым трудом – в погоне за соболем, на валке леса, на сплаве по порожистым рекам, – и к старости он сам стал похож на сутулый пенек. В его покладистой натуре, как ни странно, уживалась злоба к собакам. Кости обглоданной не бросит им, так и норовит дать пинка. Недолюбливали его и собаки. На что у Бойки ласковый характер, она бывало близко к нему не подойдет, все косится, как на чужого. Сколько раз мы пытались примирить их, но все напрасно. Видно, издавна застряла в старике нелюбовь к этим животным.

Так в тот день мы и не уехали, решили обшарить всю местность по обе стороны Систиг-Хема.

Тайга, окружавшая лагерь, была завалена валежником, обросла папоротником, дикой смородиной. Что ни дерево – то убежище, тут и чаща и бурелом. Разве можно было найти

---

<sup>3</sup> Бий-Хем – Большой Енисей (эвенк.).

в таком лесу нарочито спрятавшуюся собаку? Весь день мы искали, но тщетно. Бойка, условно, слышала наши голоса или наши шаги, но не выдавала своего гнезда, будто действительно догадывалась, что может лишиться щенят.

Что же делать? Задерживаться дальше нельзя, тем более что стояла хорошая солнечная погода, но и бросить собаку в таком положении жестоко. После долгих размышлений решили ехать. А Василий Николаевич остался.

– Без пищи Бойка проживет несколько дней, она ведь собака, а вот без воды – не сможет, тем более со щенками, непременно выскочит к реке, я ее тут и подкараулю или увижу след... – рассуждал Василий Николаевич.

Утром рано мы покинули стоянку.

Наш новый лагерь был организован километров на двадцать ниже устья Чапши на берегу Систиг-Хема, в углу небольшой поляны, возвышающейся над руслом реки. Здесь нам необходимо было задержаться на несколько дней, чтобы обследовать ближайшие вершины гор. Погода как нельзя лучше благоприятствовала работе, и мы на второй день утром, не дождав-шись Василия Николаевича, ушли на хребет. Но наши мысли продолжала приковывать Бойка. Мы втайне считали собаку потерянной. Она не бросит щенят, да и не найти ей нас в этой без-граничной горной тайге. Можно было допустить, что Бойка вернется своим следом на Казыр к рыбакам, но при мысли, что с ней щенки, и эта надежда пропала.

Случай был необычный, вызвавший у нас много споров и размышлений. Мы считаем собаку, как и других животных, неразумным существом и многое в ее поведении относим за счет врожденного инстинкта, то есть бессознательного действия. Однако кому, скажем, не при-ходилось удивляться смысленности собак! И тогда невольно хочется верить, что ею руководят не только инстинкт или рефлекс. Вероятно, в природе животных есть что-то еще не разгадан-ное человеком.

Вернувшись через три дня в свой лагерь, мы не нашли там Бойки. Василий Николаевич рассказал нам:

– Как вы уехали, она действительно вышла к реке на водопой, и нужно же было мне окликнуть ее – даже не взглянула, исчезла. Одичала, что ли? Я ведь еще на день задержался там, весь кедровник обшарил – как провалилась.

Через два дня мы закончили работу на Систиг-Хеме, собирались уйти боковым ущельем на запад, к реке Ут. Теперь уже никто не спорил и не надеялся, что Бойка придет к нам.

Помню, как сейчас, последний вечер в лагере. Догорали костры. Шумел ворчливый Систиг-Хем. Люди уже спали. Я вышел из палатки, чтобы перед сном взглянуть на небо: не грозит ли оно непогодой? На утро был назначен поход.

Молчаливо надвигалась ночь. Теплыми огнями переливалось небо, посылая на землю тусклые блики звезд. Засыпал огромный край, не преодолев истомы жаркого дня. Ночные звери и птицы заполняли сумрак таинственным оживлением. А там, где только что погас румя-нец зари, народилось темное облако. Оно росло, расползлось, затягивая небо. По лесу вдруг пробежал сдержанный шепоток, пугливо пронеслась неизвестная птица, бесшумно взмахивая в воздухе крыльями.

Вернувшись в палатку, я долго читал, не переставая прислушиваться к неясным звукам надвигающейся непогоды. А ветер нет-нет, да и прорвется, хлестнет по вершинам притихших деревьев. Далеко сквозь тьму затажно поблескивала молния, бросая в палатку мигающий свет. Но вот из тайги дохнуло сыростью, перестали кормиться кони, умолк и Систиг-Хем. Одино-кий комар пропел последний раз свою песню и упал на разгоревшееся пламя свечи. Я хотел подняться, чтобы застегнуть палатку, как вдруг над лагерем разорвался темный свод неба и молния, разгребая мрак ночи, осветила грозные контуры туч. Гроза чесанула по краю скалы, ухнул, словно в испуге, лес, и холодные капли дождя забарабанили по брезенту. Разразился ливень. Удары грома потрясали горы. Ветер загасил свечу.

До слуха донесся странный звук, будто кто-то стряхнул с себя влагу. Затем я услышал, как в темноте раздвинулись борта палатки и кто-то медленно приблизился ко мне. Я ощутил на себе теплое дыхание, и какой-то маленький комочек, холодный и липкий, упал мне на руку.

– Бойка, – шепнул я неуверенно.

По брезенту скользнула молния, на миг осветив собаку.

– Василий, Бойка пришла! Слышишь, Василий? – крикнул я, ища вокруг себя спички.

Удары грома глушили мой голос. Я зажег свечу, разбудил Василия Николаевича. Собака дрожала от холода и непрерывно встряхивалась, обдавая нас холодной водяной пылью.

– Мать пришла... На кого же ты, бедняжка, похожа... – протянул нараспев Василий Николаевич.

Он повернул и себе Бойку и долго смотрел в ее умные глаза, потускневшие от голода и, вероятно, от физических мучений. Не было в них и капельки радости, словно собака забежала на минутку к чужим спастись от дождя. Она была страшно худая и измученная. На боках торчали клочья старой шерсти; длинно оттянутые и пустые соски беспомощно свисали, уродуя профиль, и даже хвост, прежде лежавший упругим крючком на крестце, теперь выпрямился и свалился набок обрубок, а спина, как бы отяжелев, выгнулась.

Бойка вырывалась из рук Василия Николаевича и беспокойно косила глаза на мою постель. Я вспомнил о холодном комочке и стал шарить руками у изголовья.

– Василий, да ведь она и щенка принесла. Посмотри, живой, – сказал я, показывая ему крошечного заморыша, мокрого и дрожащего от холода.

У того вдруг сомкнулись брови, глаза скользнули по соскам собаки.

– Их должно быть не меньше четырех, – прошептал он, поворачивая к себе голову Бойки. – Куда же ты остальных девала? Что сделала с ними? – спросил он, строго пронизывая ее испытующим взглядом и недоверчиво ощупывая живот собаки.

– Ладно, Василий, ничего она тебе не скажет. Вероятно, пропали от истощения. Скорее корми ее, да надо спасти щенка.

Из палаток прибежали люди. Все были удивлены. Они ласкали Бойку и с любопытством рассматривали щенка, подававшего слабые признаки жизни. Он изредка издавал глухой, еле уловимый хрип. Тогда Бойка настораживала уши и свинцовыми глазами смотрела на черный беспомощный комочек, лежавший на постели. Сколько материнского чувства было в ее молчаливом взгляде! Как много она могла бы рассказать из того, что оставалось для нас загадочным в ее поступках! Куда, действительно, она девала остальных щенят, по каким признакам она отобрала из них этого черного, с белыми бровями, белой грудкой и крапчатыми носками на передних ногах? И, наконец, какой инстинкт толкнул ее догонять нас с крошечным детенышем в зубах? Одно мы знаем наверняка: ее привязанность к людям пересилила материнский инстинкт к остальным щенкам и заставила искать нас.

Утром я проснулся рано. В палатке был полумрак. На войлочной подстилке крепко спала Бойка, раздувая бока спокойным дыханием. А рядом с нею, подпирая сгорбленной спиной угол, сидел дед Прохор. «Не ошибся ли он палаткой?» – подумал я. Нет, старик сидел за работой, обложив себя шорными инструментами. Он чинил сыромютное путо, пронизывая его толстым шилом, и, сощуриль глаза, долго тыкал в дыру обмусоленным концом ушивальника. Его самодельная трубка лениво дымилась, наполняя палатку едким дымом крепкого самосада. Малейший шорох на подстилке заставлял деда Прохора отрывать от работы. Он медленно поворачивал голову и заботливо смотрел на отдыхавшее семейство. А засмоленные усы, небрежно свисавшие на губы, начинали шевелиться, выдавая добродушную улыбку. «Подменил нам кто-то деда Прохора», – удивился я, не веря своим глазам. Он услышал шорох и, погрозив мне пальцем, прошептал:

– Тс-с, спит...

Но щенок проснулся. Он жалобно заскулил и, приподняв голову, начал вертеть ею в пустом воздухе. А Бойка, увидев возле себя нелюбимого старика, вдруг подвинулась к нему и пронизала его предупреждающим материнским взглядом: дескать, не тронь! Дед же Прохор чубуком трубки перевернул щенка вверх брюшком и, качая неодобрительно головою, долго смотрел, как тот беспомощно махал крошечными лапками, тоскливо взывая о помощи.

– Василь, спишь? Встань-ка, голубчик, – говорил дед шепотом, теребя Василия Николаевича за ноги. – Щенок, понимаешь, пропасть может, ему бы лекарства, что ли?

– Где же я ему возьму лекарство?

– Буди ребят, может, у кого порошок какой есть или капли.

– Жалко стало, дед Прохор, а ведь ты же не любишь собак!

Старик отбросил в сторону путо, посмотрел в раздумье на Василия Николаевича.

– Туг, брат, камень растает, а сердце разве выдержит? Ведь к нам она притащила его, из-за нас, понимаешь, из-за людей, кинула собака остальных щенят.

Вот ведь чем купила она старика!

– Значит, помирились?

– Куда денешься в таком случае? Да ты глянь, Василь, как его корежит! – вдруг вскрикнул дед Прохор, быстро поднимаясь и выпрямляя заочевшие ноги. – Видно, тебя не дождался, сбегая-ка сам за лекарством в лес.

Вскоре дед Прохор вернулся с большой охапкой черемуховых веток. Он подошел к костру, сбросил ношу, взглянул удивленно на нас и улыбнулся.

– Наверно, лишку притащил, – сказал он.

Все рассмеялись.

– Тут, дед, хватит не только щенку, но и для всех нас, да, пожалуй, и для лошадей, – заметил Василий Николаевич.

Часов в двенадцать дня наш караван покинул Систиг-Хем. Продвигались по узкому ущелью к перевалу. Далеко позади шел дед Прохор, ведя на поводу приземистого мерина с объемистым вьюком. Следом за конем бежала Бойка.

Старик не торопился. На лице у него была озабоченность. Он изредка останавливался, заглядывая в корзину, сплетенную из прутьев и притороченную поверх вьюка. Тогда к нему подходила Бойка. Вытягивая голову, она прислушивалась.

– Живой, мать, живой, – говорил ей ласково дед Прохор. – На перевал заберемся, там, значит, кормить будем нашего зверя, поняла?

Так начал свою жизнь Кучум. Тайга, ветры и дожди выходили его, а мать научила разбираться в следах, в звуках, привила ему упорство, с каким сама умеет преследовать зверя. Полюбился он и деду Прохору.

## **II. Проводы Королева. – Незаконченный ночной разговор. – Сборы в далекий путь. – Вылет на косу. – Тревожная радиограмма**

Может быть, будет не лишним сказать несколько слов о современной карте, которую мы собираемся делать в Приохотском крае.

Создание карты – сложный и многообразный технологический процесс. Достижения советских ученых в изобретении высокоточных приборов и методов картографирования позволяют в кратчайший срок на больших площадях составлять карты высокого качества.

Самый совершенный метод создания карт – аэрофотосъемка, когда местность фотографируется с самолета специальным аэрофотоаппаратом. Фотосъемка производится обычно с высоты от шестисот до пяти тысяч и более метров, в зависимости от масштаба карты. Аэрофотосъемка дает многократно уменьшенное изображение территории.

Для того чтобы все снимки привести к одному общему и заранее заданному масштабу карты, привести их в подобие с местностью, расшифровать изображения различных элементов – леса, кустарника, болота, камня, – нужно проделать большие и трудоемкие полевые работы. По тем местам, над которыми летал самолет, – будь то непроходимая тайга, недоступные вершины хребтов, бурнопорожистые реки или безводные пустыни, – везде должны пройти отряды геодезистов. Они сделают точнейшие измерения расстояний углов, чтобы определить положения наиболее характерных точек местности. Этими точками обычно служат господствующие вершины гор, наиболее высокие сопки, возвышенности. Для удобств работы на выбранных точках строятся деревянные пирамиды, или сигналы, позволяющие видеть их на большом расстоянии. Геодезисты называют эти точки пунктами.

Следом за геодезистами идут отряды топографов. Пользуясь пунктами и аэрофотоснимками, они детально измеряют местность, собирают все необходимые сведения для будущей карты: названия хребтов, ключей, озер, низин, скорость и глубину рек, характер лесного покрова, проходимость болот, прослеживают тропы, пересекающие местность, и многое другое.

После окончания полевых работ весь материал геодезистов и топографов сосредоточивается в специальных лабораториях и цехах, где при помощи точных оптических приборов на аэрофотоснимках производятся необходимые измерения и построения. Так получается оригинал карты. Затем его вычерчивают во всех необходимых деталях и направляют на картфабрику.

Первым отлетел техник Трофим Николаевич Королев с кадровыми рабочими Николаем Юшмановым, Михаилом Богдановым, Иваном Харитоновым и Филиппом Деморчуком. Они должны будут попасть в одну из бухт на Охотском побережье и пробраться в центральную часть Джугджура. Участок их работ самый отдаленный и трудный, поэтому-то туда и назначен Королев, смелый и напористый человек.

К нам Трофим Николаевич попал случайно, еще будучи подростком, в 1931 году, когда мы вели работы в Закавказье. У него не было никого родных. В экспедиции он научился грамоте, нашел себе братьев и сестер и снискал всеобщую любовь.

Вылет подразделения Королева назначили на двенадцатое февраля. Накануне я задержался в штабе до полуночи. Вместе с Хетагуровым и Плоткиным окончательно просмотрели маршрут Королева, проверили списки полученного снаряжения, продовольствия – не забыто ли что, условились о местах встреч.

Когда мы вышли из штаба, город спал, прикрытый черным крылом зимней ночи. Две одинокие звезды перемигивались у горизонта. С окраины города доносилась протяжная девичья песня.

– У Пугачева огонь горит, сегодня проводы товарищей, может, зайдем? – предложил Трофим, когда мы поравнялись с квартирой Пугачева.

Нужно было оторваться хотя бы на час от цифр, схем, канцелярщины. За день так намотаешься, что теряешь понятие об усталости. Даже сон не берет и, кажется, все равно, как дожидаться утра – на ногах или в постели.

Зашли. В комнате накурено. На столе беспорядок, как это часто бывает после званого ужина.

Экспедиция за двадцать с лишним лет существования совершила немало славных дел, и творцы этой маленькой истории собрались у Пугачева, старейшего работника.

Давно еще, в 1930 году, будучи мальчишкой, Пугачев приехал на Кольский полуостров из глухой пензенской деревушки с дерзкой мыслью – увидеть своими глазами северное сияние. Нас он нашел в Хибинской тундре. Мы тогда делали первую карту апатитовых месторождений. Мечтательному парнишке понравилась наша работа, да и скитальческая жизнь, и он навсегда остался с нами. Трофим Васильевич побывал с экспедицией в Закавказье, на Охотском побережье, в Тункиноких Альпах, Забайкалье; дважды посетил центральную часть Восточного

Саяна, был на всех трех Тунгусках, прошел маршрутом от Байкала через Улан-Макит – Чару-Бомнак – Ниманчик почти до Амура. Жизнь научила его смело смотреть в лицо опасностям и испытаниям. Трофим, Васильевич мог служить примером того, насколько обманчива бывает внешность у людей. Незнакомцу, повстречавшемуся с этим маленьким человеком – кротким и застенчивым, ни за что не угадать в нем отважного путешественника.

Сегодня у Трофима Васильевича собрались такие же, как и он сам, следопыты и неутомимые путешественники – Лебедев, Мищенко, Коротков и другие. Мне было приятно видеть их вместе. С ними я не раз бывал в опасных переплетах, когда проверяется истинная дружба, делил радости и невзгоды.

Едва мы усадились за стол, ввалилась молодежь.

– Откуда бредете, полуночники? – раздался из угла чей-то голос.

– Из кино. Увидели свет и зашли. Ведь завтра Королев открывает навигацию. Вот и не спится. Охота в тайгу, – слышится ответ. – Есть, товарищи, предложение: поскольку тут тепло и уютно, и учитывая настойчивую просьбу хозяина, давайте останемся за этим столом до рассвета. А утром проводим Королева.

У хозяина на лице растерянность. Он грустными глазами смотрит на опустошенный стол, потом лезет в дорожный ящик за закуской. Гости раздеваются, гремит посуда, комната гудит свежими голосами...

Через час мы с Королевым шли по пустынным улицам.

– Что с тобою, Трофим, почему ты последние дни молчаливый? – спросил я своего спутника, совершенно не различая в темноте его лица. – Или не хочешь отвечать?

– А какой толк таиться? Вы ведь знаете, вот уже год, как я не получаю писем от Нины. Мною пренебрегли...

– Пора, Трофим, забыть Нину, как это ни тяжело. Ничего у тебя с ней не получится, и нечего обманывать себя пустой надеждой.

– Это так. Но обидно: не сумел устроить свою жизнь. Все у меня косогором идет, не как у людей... Скорей бы в тайгу, там все проще.

– Не хочется мне отпустить тебя с таким настроением.

Я затащил его к себе ночевать. До утра оставалось часа три. Хозяйка подала ужин.

– Мое прошлое – непоправимая ошибка, а настоящее кажется мне случайностью. К моим ногам, вероятно, упала чужая звезда, – говорил Трофим Николаевич медленно, не отводя от меня темно-серых глаз. – Если бы я мог забыть трущобы, Ермака и все, что связывает меня с этим именем, я был бы счастливым. Вы только не посчитайте меня неблагодарным и не подумайте, что я не чувствую теплоты нашего времени, хорошего отношения к себе... Все это мне и близко и дорого. Но следом за собой я тащу тележку с прошлым.

– Удивляюсь тебе, Трофим, – перебил я его. – Шестнадцать лет прошло с тех пор, как ты ушел от преступного мира. Пора о нем забыть!

– Легко сказать – забыть! Это ведь не папироска: выкурил да выбросил. Прошлое присосалось как пиявка... А слово «вор», кто бы его ни произнес, бьет меня. Но ведь я столько же виноват в своем прошлом, сколько и в своем рождении. Меня семилетним мальчишкой подобрали чужие люди. Они сделали из меня вора и воров толкнули в жизнь. Тогда, еще в трущобах, я каким-то скрытым чувством сознавал, что не это мне надо. Но разве просто уйти от привычной среды, подавить в себе равнодушие к чужим вещам, научиться иначе думать? И все же я ушел. А вот забыть прошлое не смог. Так и кажется, что иду я сбоку жизни, спотыкаюсь на ухабах, как незрячий мерин. Знаю, что меня никто не упрекает, что мне открыты все дороги. Чего же не жить спокойно? Так нет! Скажите, кому, как не злой судьбе, нужна была наша встреча с Ниной? Она напомнила мне о прошлом и насмеялась. Нина оттолкнула меня потому, что я – бывший вор и могу теперь скомпрометировать ее.

– Ты не прав, – перебил я его. – Нина любит тебя, и ее не смущает ни ее собственное, ни твое прошлое, но ты знаешь, почему она не может стать твоей женою. При всей моей привязанности к тебе, Трофим, я должен сказать: Нина поступила правильно. Тебе нужно жениться на другой. Разве мало хороших девушек у нас? А насчет того, что идешь сбоку жизни, – неверно. Подумай, разберись и не грехи на себя. Что с того, что твоя дорога вначале шла по ухабам? Все это уже давно позади. Сейчас у тебя интересная работа. Ты любишь жизнь, и не во имя ли ее столько пережил? Я не узнаю тебя, Трофим! Может быть, действительно задержаться дня на два с вылетом?

– Нет, полечу, мне нужно скорее в тайгу!

– Боюсь, поедешь с таким настроением, рискованно начнешь и потеряешь голову.

Трофим молчал, сдерживая волнение.

– Ложись-ка ты лучше спать. Отдохни. Утро вечера мудренее!

– Да, скорее бы рассвело... Знаете, что мне хочется? – вдруг сказал он, повернувшись ко мне. – В пороги, на скалы! Ломать, грызть зубами, кричать, чтобы все заглушить! Вы же не знаете всего моего прошлого... – Он встал и бесшумными шагами отошел от кровати.

В комнате наступила тишина. Ветер хлопнул ставней, и отдыхавшая на диване кошка поспешно убралась за перегородку. Я чувствовал, как тяжелыми ударами пульсирует в голове кровь. Трофим стоял спиной ко мне, заложив за затылок сцепленные руки и устало опустив взлохмаченную голову.

– Об одном я никогда тебя, Трофим, не спрашивал... Скажи, ты когда-нибудь встречался с главарем вашим, с Ермаком, после того как пришел к нам?

Он не ответил, и мне показалось, что я ни о чем его и не спросил, а только подумал.

У соседей проскрипел хриплым голосом старый петух. В окна робко заползало утро.

– Скоро за нами подъедет машина... Я пойду домой, у меня еще не все собрано, – сказал Трофим. – А вас прошу – не спрашивайте меня больше про Ермака.

– Странно... Оказывается, у тебя есть какая-то тайна, которую ты скрываешь от меня. Хорошо, забудем наш сегодняшний разговор, и я больше никогда тебе не напомню о нем... Иди собирайся.

На розовеющем востоке нарождалось солнце, и навстречу ему плыло по небу свежее, как зимнее утро, облачко. Город просыпался медленно. По улицам бродили собаки, нехотя перекликались петухи. У реки тяжело пыхтел локомотив. Из труб высоко-высоко поднимались столбы мутного дыма.

У самолета собралась толпа провожающих. Слышался шум, смех. Чувствовалось, что все живут одними мыслями, желаниями, одной целью. Приятно смотреть на этих людей, связанных долготелней совместной работой и искренней дружбой. Королев тоже повеселел. Да и какое сердце не оттаит в такие минуты? Лицо Трофима, округлое, усеянное рябинками, посвежело от румянца. В темно-серых глазах сердечная благодарность товарищам, друзьям. Отъезжая, он верил, что в тайге не будет одинок. Повстречайся он с бедой, где бы она его ни захватила, мы придем на помощь. Тому, кто испытал верность друзей, кто знает настоящую дружбу, тому легче живется.

До отлета остались минуты. Машина загружена. Экипаж корабля на местах, но люди еще прощались. Все говорили одновременно, понять ничего нельзя. Королев вырвал из толпы Пугачева, обнял и, не выпуская его из своих объятий, сказал, обращаясь ко всем:

– Спасибо вам. Я счастлив, что имею так много друзей.

Вдруг чихнул один из моторов и загудел, бросая в нас клочья едкого дыма. Тотчас заработал второй, и самолет забился в мелкой нетерпеливой дрожи.

Я попрощался с Трофимом последним.

– Приедете ко мне в этом году? – спросил он, пряча свой взгляд где-то в складках моей шубы.

Легкая тень скользнула по его лицу, вероятно, он вспомнил наш ночной разговор.  
– Не обещаю. Скорее всего на инспекцию к тебе приедет Хетагуров. Ему будет ближе.  
Мы крепко пожали друг другу руки.

Лучи поднявшегося солнца серебрили степь, узкой полоской прижавшуюся к горе. В березовой роще жесткий ветер переивал сыпучий снег.

Самолет, покачиваясь, вышел на дорожку. Моторы стихли в минутной передышке, потом взревели, и машина, пробежав мимо нас, взлетела. Через несколько минут она потерялась в синеве безоблачного неба...

Всю территорию работ мы разделили на три больших района. В каждом из них будут действовать самостоятельные партии, состоящие из геодезистов, топографов, астрономов, географов.

Шесть площадок в отдаленных уголках тайги должны в ближайшие дни принять полевые подразделения с оборудованием, снаряжением и годовым запасом продовольствия. Из эвенкийских колхозов к местам работ уже вышло более пятисот оленей в сопровождении пятидесяти проводников-каюров. На территории, подлежащей обработке, предстоит организовать около десяти лабазов с запасами продуктов и снаряжения, расположив их на главных маршрутах прорабов.

Двадцать второго февраля была закончена подготовка таежных посадочных площадок и стала возможна переброска людей и грузов. Погода благоприятствовала нам.

В штабе остается все меньше и меньше участников экспедиции. Николай Иосифович Хетагуров, который весной будет инспектировать работы на южном участке, уже находился на озере Лилимун и на днях с группой геодезистов и астрономов уйдет к главной вершине Чагарского хребта. А я хочу ехать с техником Лебедевым на реку Маю, чтобы помочь обследовать район стыка трех хребтов: Станового, Джугджура и Джугдыра. Затем, посетив истоки реки Зеи, самую дикую часть Станового, попробую перевалить через горы к озеру Токо.

Пока что нам не удалось найти проводников, знающих проходы в этой части Станового. Эвенки, оказывается, туда вовсе не заходят, переваливая через хребет западнее нашего участка. А нам проход нужен именно в восточной оконечности хребта.

Наконец мы получили благоприятное сообщение председателя эвенкийского колхоза «Ударник» Колесова. Он писал: «У нас есть восьмидесятилетний старик Улукиткан, который когда-то переваливал Становой в верховьях Зеи. И хотя он не помнит, где находится перевал, но берется провести вас». Мы, конечно, обрадовались известию, но кандидатура проводника вызвала сомнение: ведь в таком возрасте ему будет трудно путешествовать по тайге. Однако не оставалось ничего другого, как только дать согласие. В письме Колесову я просил выделить в помощь проводнику молодого, здорового парня и направить вместе с оленями на одну из кос на реке Зее.

Последние дни в штабе были особенно напряженными. В глухих и отдаленных уголках тайги появились лагеря геодезистов и топографов. От них поступали короткие радиogramмы: «Сегодня пересекли реку Учур» или «Сегодня покидаем Тугурскую бухту». Королев со своими людьми уже достиг Джугджурского хребта и, вероятно, приступил к работе. К Становому, со стороны Алданской возвышенности, подбиралось подразделение Пугачева. Еще несколько дней летной погоды – и все мы будем в тайге. Скорее бы! Хочется снять с себя городской костюм, освободиться от канцелярщины и отдаться любимому делу.

Удивительно устроен человек. С каким волнением каждый год возвращаешься из экспедиции к родному очагу, к друзьям, театрам, спокойной жизни! И всегда окружающая тебя городская обстановка кажется обновленной, все воспринимаешь остро, с наслаждением работаешь над дневниками, перелистывая страницы былых походов. Но пройдут первые дни радости, и где-то в глубине сознания пробуждается тоска по просторам, по бродяжнической жизни. Все чаще мечта уносит тебя в далекую глушь. То вдруг сказочным видением встанет в памяти

могучий и грозный Кизыр, то яростно взревет пурга, как бы вызывая на поединок, то ласково прошумит высокоствольная тайга, и сердце сожмется от боли. Тесным становится город, стены квартиры сковывают мысли, нигде не находишь успокоения, пока не начинаешь готовиться к очередной экспедиции.

Все мы считали дни и часы, оставшиеся до вылета. Но вдруг, как назло, погода изменилась: разыгралась затяжная пурга. Хорошо, что все подразделения были уже в тайге. Лебедев дождался нас на одной из зейских кос. Со мной должны были ехать Василий Николаевич Мищенко и радист комсомолец Геннадий Чернышев – замкнутый и скупой на разговор, но дельный и упрямый в работе.

Войну Геннадий провел в танке. Постоянная напряженность, тяжелые бои приучили его к строгому равновесию в жизни. Он редко смеется, в лучшем случае улыбается. Промокнет ли под проливным дождем, или устанет, измотавшись под тяжелой ношей, он всегда бодр. Ни слова жалоб. Он был достойным товарищем в наших походах.

С нами отправлялись и четвероногие друзья: Бойка и Кучум.

Наше снаряжение состояло из двух легких палаток (для нас и для проводников), железных печей, спальных меховых мешков, небольших брезентов, пологов, алюминиевой и эмалированной посуды и различного хозяйственного инвентаря: пил, топоров, мешков, веревок, подпильников... Мы брали с собой также трехмесячный запас продовольствия: муки, сахара, масла, сгущенного молока, макарон, круп, чая. Мясных консервов в свои запасы не включали, предпочитая свежую рыбу и мясо, добытые в тайге.

Личные вещи были упакованы в потки – вьючные олени сумы. Чего только в них не было! Как обычно, я взял с собою два фотоаппарата – широкоплечный и «Киев» – с полным комплектом объективов и светофильтров; запас цветной и черной пленки: спиннинговую катушку, железные коробки с блеснами, шнурами и всякой мелочью, необходимой рыболову; патроны, кожаную сумочку с варом, шилом, иглами и нитками; пикульки, манки для приманивания птиц и многое другое, нужное в походной жизни путешественника.

Предметы, которые боялись сырости (пленка, спички, химикаты), мы упаковывали в непромокаемые резиновые пузыри. Белье, одежда, бумага укладывались в сумки из плащ-палатки.

Хозяйством нашего маленького отряда, включая и общее продовольствие, ведал Василий Николаевич Мищенко, человек расчетливый и предусмотрительный.

Одиннадцатый год он ездит со мною в тайгу, и всегда перед отъездом у нас происходят легкие размолвки по поводу закупок. Он выпрашивает у меня деньги:

– Надо бы кисленьких конфеток купить. Ну и банку томату, – говорит он, и на лице его полное безразличие, будто все это нужно только мне.

– Вот, бери двести рублей и кончай с покупками, завтра вылетаем.

– Погляжу, должно бы хватить...

– Лишнего только не набирай.

– Сами же после скажете: вот бы фрукту сладкую съел, чего, дескать, не купил? А где я ее там возьму? Или еще хуже: не хватит, скажем, перцу или спирту, – бросает он, скрываясь за дверь.

Через два часа он снова возле меня.

– Опять за деньгами?

– Табачок нашел «Золотое руно», взять бы хоть пачку. В тайге после чая приятно им побаловаться. И опять же сливы пришли в магазин, как не купить?!

Я знаю, что у него давно закуплены и кислые конфеты, и «Золотое руно», и сливы и что деньги ему нужны на другие покупки, о которых он ни за что не проговорится. Любит Василий Николаевич чем-нибудь неожиданно порадовать в тайге, вот и прячет по своим поткам, как крот, банки, свертки. Но я не выдаю своей догадки.

Последний перед отъездом день прошел в необыкновенной суматохе. Нужно было написать письма, послать телеграммы. Главный бухгалтер Малиновский положил на стол три толстые пачки финансовых отчетов и не отходит, боясь, что я уеду и документы останутся неподписанными. Наконец машина загружена, все готовы к выезду.

Прощай, город! Прощайте, друзья, покой, застольные беседы! За незримую чертой, перейти которую мы стремимся, нас ждет иная жизнь. Там нет телефонов, справочных бюро, зонтиков, калош, гриппа, сквозняков и тротуаров; обед будет без скатерти, а вместо вилки – пальцы. Там нам никто не укажет путь, и все придется делать самому: чинить штаны, ботинки, печь лепешки, чистить кастрюли, стирать белье. Нас ждет суровая тайга. И плохо тому, кто слаб в борьбе или не верит в свои силы. Природа беспощадна к нему.

И вот мы снова летим над тайгой. Кругом зима – ни единой проталины, пустынно. Самолет отклоняется вправо и идет на северо-восток.

Моих товарищей первая часть пути разочаровывает. Ну что особенного: всего час назад поднялись в воздух, и вот уже посадка. Правда, не на аэродром, а на речную косу, но что от этого изменилось? Нас встречают знакомые лица, голоса. Рядом с посадочной площадкой под охраной береговой чащи стоят палатки, лежит груз, горят костры подразделения Лебедева. Как все это знакомо, близко и дорого путешественнику!

Мы быстро и весело разгружаемся. Но больше всех довольны собаки. Они носятся по косе, играют, лают и, наконец, исчезают в тайге.

Кирилл Родионович Лебедев приглашает экипаж самолета зайти в палатку.

– В городе вас таким обедом не угостят, – говорит он. – Даже заправскому повару не приготовить так вкусно! К тому же, учтите, у нас все в натуральном виде, объемно. А какой воздух, обстановка – куда там вашему ресторану! Так что вы не отказывайтесь!

– Напрасно вы, Кирилл Родионович, уговариваете, мы ведь не из робких, – отвечает командир Булыгин. – Знаем ваши таежные процедуры, умышленно сегодня не завтракали. Пошли!

В палатке просторно. Пахнет жареной дичью, свежей хвоей, устилающей пол, и еще чем-то острым.

– Откуда это у вас петрушка? Зеленая – и так рано! – удивляется Булыгин, пробуя уху.

– Обращайтесь к Мищенко, он у нас мичуринец. Даже тропические растения выращивает в походе, – ответил Лебедев.

– Он наговорит – на березе груши! – вмешался в разговор Василий Николаевич. – Ей-богу, в жизни не видел тропического дерева. В прошлом году на Саяне были, лимон в потке сгнил, а одно зерно проросло, жить, значит, захотело. Дай, думаю, посажу в баночку, пусть растет. Ну и провозил лето в потке на оленье, а теперь лимон дома, с четверть метра поднялся. А насчет зелени – тут тоже я ни при чем. От прошлого года осталось немного сухой петрушки, вот я и бросил щепотку в ушницу. Травка хотя и сухая, но запах держит куда с добром!

Через час самолет поднялся в воздух, махнул нам на прощанье крылом и скрылся с глаз.

Ну, вот мы на пороге новой, давно желанной жизни!

До вечера успели поставить еще одну палатку, заготовить дров и установить рацию. День угасал. Скрылось солнце. Отблеском вечерней зари осветились лагерь, макушки тополей и вершины гор, но мало-помалу и этот свет исчез. Появилась звезда, потом вторая, и плотная ночь окутала лагерь. К нам в палатку пришел Кирилл Родионович. Геннадий, забившись в угол, принимал радиogramмы.

– Проводники прибыли? – спросил Лебедева Василий Николаевич.

– Все тут. Они с оленями на мари, километра три отсюда. Ваш проводник Улукиткан совсем старик, щупленький, как только ветер его с ног не валит. Горя вы с ним наберетесь. Но места, видно, знает. Говорит, торопиться надо, скоро по рекам наледи пойдут, могут не пустить.

– А другого пути на Маю разве нет?

– Нет. Говорят, снега большие. Летом туда можно попасть тропой пастухов по Джегорме.

– Есть неприятное сообщение от Плоткина, – вдруг заявил Геннадий, отрываясь от аппарата и передавая мне радиограмму, принятую из штаба.

«Только что получили молнию от Виноградова с побережья Охотского моря следующего содержания: по пути на свой участок заезжал в подразделение Королева к Алгычанскому пику, где они работают. Нашел палатку, занесенную снегом, но людей там не оказалось. По всему видно, люди ушли из лагеря ненадолго и заблудились или погибли. В течение двух дней искали, но безрезультатно, никаких следов нет. Необходимо срочно организовать поиски. В горах сейчас небывалый холод. Работа на пике Королевым, вероятно, закончена, видел на вершине отстроенную пирамиду. Молнируйте ваше решение. Виноградов».

Я еще и еще раз прочел радиограмму вслух и как-то сразу вспомнил наш последний разговор с Трофимом. Теперь мне показалось, что он остался далеко не законченным, и Королев увез с собой тяжелые, угнетавшие его сомнения, в которых я не мог разобраться до конца. Мысли одна за другой, словно метелица, закружились в голове...

– Не может быть, чтобы заблудились. Горы не тайга, а вот... – Василий Николаевич так и не решился закончить фразы.

С минуту длилось молчание. Случайный ветер, ворвавшийся в палатку, погасил свечу. На реке глухо треснул лед.

– В горах все может случиться! Долго ли оборваться, а то и замерзнуть. Отправьте нас на розыски, ребята у меня надежные, – заговорил Лебедев, нервно прикусывая зубами край нижней губы.

Мищенко зажег свечу, и снова наступила тишина.

– Плоткин ждет у аппарата, – буркнул Геннадий.

– Передай ему, пусть утром высылает за нами самолет, а тебе, Кирилл Родионович, придется ехать одному на Маю. Уж коли случилось такое несчастье, то на розыски полетим мы.

Я попросил Плоткина телеграфировать Виноградову: «Завтра вылетаю с поисковой группой на побережье, далее пойдем на оленях маршрутом Королева к Алгычанскому пику, будем искать затерявшихся в районе западного склона гольца. Вам предлагаю не дожидаться нас, завтра выходить на розыски в район восточных склонов гольца. Оставьте письмо о своем маршруте и планах. В случае удачи вышлите к нам нарочного. Поиски не прекращать до получения распоряжения».

Неприятная весть быстро облетела маленький лагерь. Все собрались в нашей палатке. В долине темно, шальной ветер рыщет по дуплам старых елей, да неприятно стонет горбатый тополь.

Хотя жизнь и приучила нас ко всяким неожиданностям, все же случай на Алгычанском пике глубоко встревожил всех. Конечно, Трофим в любом испытании не будет сдаваться до последнего удара сердца, и его товарищи Юшманов, Богданов, Харитонов, Деморчук – люди стойкие. Они не могли стать жертвами оплошности. Однако надо спешить им на помощь.

Геннадий, закончив работу, держал в руках книгу, но не читал, а о чем-то думал. Кирилл Родионович беспрерывно курил. Про ужин забыли. Жаль Трофима! Неужели нужно было пройти такой тяжелый жизненный путь, чтобы обрести себе вечный покой где-то далеко у холодных берегов Охотского моря!

Наступила полночь. Лагерь уснул. Стих и ветер. Запоздалая луна осветила палатку. А предо мною проходили одна за другой картины, связанные с юношеской жизнью Трофима Королева...

### **III. Случай у палатки. – Пленник в лагере. – Бегство. – В Баку на Шайтан-базаре. – Возвращение. – Последний привод в милицию. – Встреча на черноморском пляже**

В 1931 году мы работали на юге Азербайджана. Я возвращался из Тбилиси в Мильскую степь, в свою экспедицию. На станции Евлах меня поджидал кучер Беюкши на пароконной подводе. Но в этот день уехать не удалось: где-то на железной дороге задержался наш багаж.

Солнце палило немилосердно. Нигде нельзя было найти прохлады.

– Надо чай пить! – советовал Беюкши. – От горячего чая бывает прохладно.

– А если я не привык к чаю?

– Тогда поедем ночевать за станцию, в степь, – отвечал он.

Пара изнуренных жарою лошадей протащила бричку по ухабам привокзального поселка, свернула влево и остановилась у арыка. Мы поставили палатку на берегу. Беюкши ушел в поселок ночевать к своим родственникам, а я расположился в палатке.

Не помню, как долго продолжался сон, но пробудился я внезапно, встревоженный каким-то необъяснимым предчувствием, а возможно, лунным светом, ворвавшимся в палатку. «Не Беюкши ли пришел?» – мелькнуло в голове. Я приподнялся и тотчас же отшатнулся от подушки: к изголовью постели бесшумно спускалось лезвие бритвы, разделяя на две части глухую стенку палатки. Пока я соображал, что предпринять, в образовавшееся отверстие просунулась голова, затем рука, и в ее сжатых пальцах блеснула финка. Возле меня, кроме чернильницы, ничего не было, и я, не задумываясь, выплеснул ее содержимое в лицо бродяги.

– Зануда... еще и плюется! – бросил тот, отскакивая от палатки.

Через минуту в тиши лунной ночи смолкли торопливые шаги.

Уснуть я больше уже не мог. Малейший шорох заставлял настораживаться: то слышались шаги, то топот. В действительности же возле палатки никто больше не появлялся.

Утром мы получили багаж, позавтракали в чайхане и тронулись в далекий путь. Лошади легко бежали по пыльному шоссе. Над равниной возвышались однообразные холмы. Кругом низкорослый ковыль, местами щебень. И только там, куда арыки приносят свою драгоценную влагу, виднелись полосы яркой зелени.

Проехав километров пять по шоссе, мы неожиданно увидели возле кювета группу беспризорников.

– Стой! – крикнул я кучеру и спрыгнул с брички.

– Ты резал палатку? – спросил я одного из них.

Беспризорники вскочили и скучились на краю дороги, словно сросшиеся дубки. Подбежал Беюкши.

– Где морду вымазал в чернилах, говори? – крикнул он, и в воздухе взметнулся кнут.

– Не смей! Убью! – заорал старший из ребят, поднимая над головою Беюкши костыль.

Кнут, описав в воздухе дугу, повис на поднятом кнотовище. Беспризорник стоял на одной ноге, удерживая другую, больную, почти на весу. Он выпрямился, повернулся лицом ко мне и уже с пренебрежительным спокойствием добавил:

– Я резал, а лезть должен был он, Хлюст, но трогать его не смей, слышишь? – И он гневно сверкнул глазами.

– Что, выкусил? – прохрипел Хлюст, выглядывая из-за спины защитника, и ехидно улыбнулся.

Лицо у него было маленькое, подвижное, нос тонкий, длинный, бекасинный, глаза озорные, и казалось, вот-вот с его губ сорвется еще что-то детское. Чернила угодили ему в нос и полосами разукрасили щеки. На груди широкой прорехой расплзлась истлевшая от времени рубашка, обнажив худое и грязное тело.

Я рассмеялся, и какую-то долю минуты мы молча рассматривали друг друга. Это были совсем одичавшие мальчишки. Старшему едва ли можно было дать шестнадцать лет. Он стоял сбоку от меня, заслоняя собою остальных и опираясь на костыль. Его черное, как мазут, тело прикрывалось грязными лохмотьями. Большая нога перевязана тряпкой, на голове лежали прядами нечесанные волосы. Но в открытых глазах, в строгой линии сжатых губ, даже в продолговатом вырезе ноздрей чувствовалась решимость защитника.

– Чего же не бьешь? – спросил он меня с тем же пренебрежением.

– Гайка слаба, ишь, белмы выкатил! – засмеялся Хлюст, передразнивая Беюкши.

– Ты мне смотри, бродяга! – заорал тот гневно и шагнул вперед.

– Говорю, не смей! – хромой, отбросив костыль, выхватил из рук Хлюста финку и встал перед Беюкши.

Тот вдруг прыгнул к нему, свалил на землю и поволок на шоссе. Остальные ребята, оробев, отскочили за кювет. Я подобрал упавший нож.

– Вот сдадим тебя в сельсовет, будешь знать, как резать палатку. И за нож ты мне ответишь, – говорил Беюкши, втаскивая парня в бричку.

Мы поехали, а трое чумазных мальчишек остались у дороги.

Наш пассажир лежал ничком в задке брички, между тюками, поджав под себя больную ногу. Из растревоженной раны сквозь перевязку сочилась мутная кровь и по жесткой подстилке скатывалась на пыльную дорогу.

– Тебе больно? Перевязку не делаешь, запах-то какой тяжелый. Подложи вот... – сказал я, доставая брезент.

Беспризорник вырвал его из моих рук и выбросил на дорогу. Беюкши остановил лошадей.

– Чего норовишь? Приедем в поселок, там живо усмирят. Мошенник! – злился он.

Я поднял брезент, и мы поехали дальше. Беспризорник продолжал лежать на спине, подставив горячему солнцу открытую голову. Трудно было догадаться, от каких мыслей у него временами сдвигались брови и пальцы сжимались в кулаки. Он тяжело дышал, глотая открытым ртом сухой и пыльный воздух. «А ведь в нем бьется человеческое сердце, молодое, сильное», – подумал я, и мне вдруг стало больно за него. Почему этот юноша отшатнулся от большой, настоящей жизни, связался с финкой, откуда у него столько ненависти к людям?

– Тебя как звать?

– Всяко, – ответил он нехотя, – кто сволочью, а другие к этому имени еще и подзатыльник прибавляют.

– А мать как называла?

– Матери не помню.

– Под какой кличкой живешь?

Он не ответил.

В полдень мы подъехали к селению Барда. Беспризорник вдруг заволновался и стал прятаться за тюки. В сельсовете никого не оказалось – был выходной день.

– Слезай, да больше не попадайся! – скомандовал Беюкши.

– Дяденька, что хотите делайте со мной, только не оставляйте тут! – взмолился беспризорник.

– Наверное, кого-нибудь ограбил? – спросил я.

Он утвердительно кивнул головой. Что-то подкупающее было в этом юношеском признании. Мне захотелось приласкать юношу, снять с него лохмотья, смыть грязь и, может быть, вырвать его из преступного мира. Но эти мысли тут же показались слишком наивными. Легко сказать, перевоспитать человека! Одного желания слишком мало для этого. И все же, сам не зная почему, я предложил Беюкши ехать дальше.

– А куда его?

– Возьмем с собою в лагерь.

– Что вы! – завопил он. – Еще ограбит кого-нибудь, а то и убьет. Ему это ничего не стоит.  
– Куда же он пойдет больной, без костылей? Вылечим, а там видно будет. Захочет работать – останется, человеком сделаем.

Беюкши, неодобрительно покачав головой, тронул лошадей. За поселком мы свернули с шоссе влево и поехали проселочной дорогой, придерживаясь южного направления.

Беспризорник забеспокоился. Разозленный от сознания собственной беспомощности, парень гнул шею, доставал зубами рукав рубашки и рвал его. На мои вопросы отвечал враждебным молчанием.

А мне захотелось помириться с ним. И когда я посмотрел на него иначе, без неприязненности, что-то необъяснимо привлекательное почудилось мне и в округлом лице, обожженном солнцем, и в темно-серых, скорее вдумчивых, чем злобных, глазах, прятавшихся под пушистыми бровями. Плотные сжатые губы и прямо срезанный подбородок свидетельствовали о волевом характере парня.

Только на второй день он разрешил мне перевязать ногу. Сквозная пулевая рана, ужасная по размерам, была запущена до крайности. Я не спросил, кто стрелял в него и где он получил эту рану. И вообще решил не проявлять любопытства к его жизни, будто она совсем не интересовала меня.

На четвертый день мы приехали в лагерь. Вокруг лежала безводная степь, опаленная июльским солнцем. Ни деревца, ни тени.

В палатках душно. Местное население летом предпочитало уходить со скотом в горы, и от этого равнина казалась пустынной.

Беспризорник дичился, отказывался от самых элементарных удобств. С нами почти не разговаривал. Жил под бричкой с Казбеком – злым и ворчливым кобелем. Спал на голой земле, прикрывшись лохмотьями. По всему было видно, что он не собирался расставаться с жизнью беспризорника и надеялся уйти от нас, как только заживет рана.

Жители лагеря относились к беспризорнику предупредительно, как к равному. Ему дали костыли, и он разгуливал между палатками или выходил на курган, под которым стоял лагерь, и подолгу смотрел на север. Но трудно было догадаться, о чем думал парнишка, всматриваясь в мутную степную даль. Тогда он напоминал мне раненую птицу, отставшую от своей стаи во время перелета. Возвратившись с кургана, он обычно ложился к Казбеку и долго оставался грустным.

Однажды, перевязывая ему рану, я как бы между прочим сказал:

– Нужно смыть грязь, видишь, рана не заживает, можешь остаться калекой.

Он ничего не ответил.

Со мною в палатке жил техник Шалико Цхомелидзе. Мы согрели с ним воды и, когда лагерь уснул, искупали парня. Его спина была исписана швами давно заживших ран. Но мы ни единым словом не выдали своего любопытства, хотя очень хотели узнать, что это за шрамы. Утром товарищи сделали балаган, и беспризорник переселился туда вместе с Казбеком.

Несколько позже, в минуты откровенности, он сказал мне свое имя: его звали Трофимом. У юноши зарождалось ко мне доверие, очень пугливое и, вероятно, бессознательное. Я же старался с ним держаться как равный и, оставаясь внешне безразличным к его прежней жизни, осторожно, шаг за шагом входил в его внутренний мир. Хотелось сблизиться с этим огрубевшим парнем, зажечь в нем искорку любви к труду. Но это оказалось очень сложным даже для всего нашего дружного коллектива.

Я много думал, чем соблазнить беспризорника, увлечь его и заглушить в нем тоску по преступному миру. Вспомнилось, как в его возрасте мне страшно хотелось иметь ружье, как я завидовал своим старшим товарищам, уже бегавшим по воскресеньям на охоту за зайцами. Я тогда считал за счастье, если они брали меня с собою хотя бы в роли гончей. Может быть, и в натуре Трофима таится охотничья страсть, думалось мне тогда.

Придя вечером с работы, я достал патронташ, нарочито на глазах у беспризорника зарядил патроны и выстрелил в цель.

– Пойдем, Трофим, со мной на охоту? Тут недалеко я видел куропаток.

Он кивнул утвердительно головой и встал. Рана на ноге так затянулась, что парень мог идти без костылей.

– Бери ружье, а я возьму фотоаппарат, сделаем снимки.

Он настороженно покосился на меня, но ружье взял, и мы, не торопясь, направились к арыку. Шли рядом. Я наблюдал за Трофимом. Парень будто забыл про больную ногу, шагал по-мужски твердой поступью, в глазах нескрытый восторг, но уста упрямо хранили молчание.

Скоро подошли к кустарнику, показались зеленые лужайки, протянувшиеся вдоль арыка. Я взял у беспризорника ружье, зарядил его, отмерил тридцать шагов и повесил бумажку.

– Попадешь? – спросил я. – Ты когда-нибудь стрелял?

Трофим отрицательно покачал головою.

– Попробуй. Бери ружье двумя руками, взводи правой курок и плотнее прижимай ложе к плечу. Теперь целясь и нажимай спуск.

Глухой звук выстрела пополз по степи. Рядом с мишенью вздрогнул куст, и Трофим, поняв, что промазал, смутился.

– Для первого выстрела это хорошо. Стреляй еще раз, только теперь целясь не торопясь. Ружье нужно держать так, чтобы прицельной рамки не было видно, а только мушка, ты и наводи ее на бумагу.

Трофим долго целился, тяжело дышал и, наконец, выстрелил. От удачи его мрачное лицо слегка оживилось.

Мы пошли вдоль арыка.

– Если понравится тебе охота, я подарю ружье, научу стрелять.

– Зря беспокоитесь, к чему она мне? А ружье нужно будет – не такое достану, – похвалился он.

В это время чуть ли не из-под ног выскочил крупный заяц. Прижав уши, он легкими прыжками стал улепетывать от нас через лужайку. Я выстрелил. Косой в прыжке перевернулся через голову, упал, но справился и бросился к арыку. А следом за ним мчался Трофим. В азарте он прыгал через куст, метался, как гончая, за раненым зайцем, падал и все же поймал. Подняв добычу, беспризорник побежал ко мне.

– Поймал! – кричал он, по-детски торжествуя.

Я пошел навстречу. Парнишка вдруг остановился, бросил зайца – и словно кто-то невидимой рукой смахнул с его лица радость. Он дико покосился на меня. В сжатых губах, в раздутых учащенным дыханием ноздрях снова легла непримиримость. Я ничего не сказал, поднял зайца, и мы направились в лагерь. Трофим, прихрамывая, шел за мною. Иногда, оглядываясь, я ловил на себе его взгляд. Несомненно, в парне уже зародились какие-то противоречия, но его упрямая натура делала свое дело.

В этот день Трофим отказался от ужина, забился в угол балагана и до утра не показывался.

Помню, закончив работу, мы готовились переезжать на новое место. Рана у Трофима зажила. Иногда, скучая, он собирал топливо по степи, носил из арыка воду, но к нашим работам не проявлял сколько-нибудь заметного любопытства.

Утром, в день переезда, случилась неприятность. Ко мне в палатку с криком ворвался техник Амбарцумянц.

– У меня сейчас стащили часы. Я умывался, они были в карманчике брюк, вместе с цепочкой, и пока я вытирал лицо, цепочка оказалась на земле, а часы исчезли.

– Кто же мог взять их?

– Не заметил, но сделано с ловкостью профессионала!

– Вы, конечно, подозреваете Трофима?

– Больше никому.

– Это возможно... – принужден был согласиться я. – Но как он мог решиться на такую кражу, заранее зная, что именно его обвинят в ней?

Неприятное, отталкивающее чувство вдруг зародилось во мне к Трофиму.

– Скажите Бейюкши, пусть сейчас же отвезет его в Агдам. Когда они отъедут, задержите подводу и общите его.

Амбарцумянц вышел. Против моей палатки у балагана сидел Трофим, беззаботно отщипывая кусочки хлеба и бросая их Казбеку. Тот, неуклюже подпрыгивая, ловил их на лету, и Трофим громко смеялся. В таком веселом настроении я его видел впервые. «Не поторопился ли я с решением? – мелькнуло в голове. – А вдруг не он?» Мне стало неловко при одной мысли, что мы могли ошибиться. Ведь тогда он опять уйдет в свой преступный мир. Рассудок же упорно подсказывал, что часы украдены именно им, что смеется он не над Казбеком, а над нашей доверчивостью. И все же, как ни странно, желание разгадать этого человека, помочь ему стало еще более сильным. Я вернул Амбарцумянца и отменил распоряжение.

– Потерпим еще несколько дней его у нас, а часы найдутся на новой стоянке. Не бросит же он их здесь, – сказал я.

Лагерь свернули, и экспедиция ушла далеко вглубь степи. Впереди лениво шагали верблюды, за ними ехал Бейюкши на бричке, а затем шли и мы вперемежку с завьюченными ишаками. Где-то позади плелся Трофим с Казбеком.

Новый лагерь принес нам много неприятностей. Началось с того, что пропал бумажник с деньгами, на следующий день были выкрадены еще одни часы. Все это делалось с такой ловкостью, что никто из пострадавших не мог сказать, когда и при каких обстоятельствах случилась пропажа.

Наше терпение кончилось. Нужно было убрать беспризорника из лагеря.

Но прежде чем объявить Трофиму об этом, мне хотелось поговорить с ним по душам. Я уже привязался к этому чумазому юноше, был уверен, что в нем живет смелый, сильный человек, и, возможно, бессознательно искал оправдания его поступкам.

– Ты украл часы и бумажник? – спросил я его.

Он утвердительно кивнул головой и без смущения взглянул на меня ясными глазами.

– Зачем ты это сделал?

– Я иначе не могу, привык воровать. Но мне не нужны ваши деньги и вещи, возьмите их у себя в изголовье, под спальным мешком. Я должен тренироваться, иначе загрубеют пальцы, и я не смогу... Это моя профессия. – Он шагнул вперед и, вытянув худую руку, показал мне свои тонкие пальцы. – Я кольцом резал шелковую ткань на людях, не задевая тела, а теперь с трудом вытаскиваю карманные часы. Мне нужно вернуться к своим. Тут мне делать нечего. Да они и не простят мне...

В палатке собрался почти весь технический персонал.

– Если ты не оценил нашего отношения к тебе, не увидел в нас своих настоящих друзей, то лучше уходи, – сказал я решительно.

Трофим заколебался. Потом вдруг выпрямился и окинул всех независимым, холодным взглядом. Нам все стало понятно. Люди молча расступились, освобождая проход, и беспризорник, не торопясь, вышел из палатки. Он не попрощался, даже не оглянулся. Так и ушел один, в чужих стоптанных сапогах. Кто-то из рабочих догнал его и безуспешно пытался дать кусок хлеба.

Как только Трофим исчез за степным миражем, люди разорили его балаган, убрали постель и снова привязали Казбека к бричке. В лагере все стало по-прежнему.

Теплая ночь окутала широкую степь. Дождевая туча лениво ползла на запад. Над Курою перешептывался гром. В полночь хлестнул дождь. Вдруг послышался отчаянный лай собаки.

Я пробудился.

– Вы не спите? Трофим вернулся, – таинственно прошептал дежурный, заглянув в палатку.

Мы встали. Шалико зажег свечу. Полоса света, вырвавшегося из палатки, озарила беспризорника. Он стоял возле Казбека, лаская его худыми руками.

– Не мокни на дожде, заходи, – предложил я, готовый чуть ли не обнять его.

– Нет, я не пойду. Отдайте мне Казбека, – произнес он усталым голосом, но, повинувшись какому-то внутреннему зову, вошел в палатку.

С минуту длилось молчание. «Зачем он вернулся?» – думал я, пытаюсь проникнуть в его мысли. Дежурный вскипятит чай, принес мяса и фруктов. Трофима угощали табаком.

– Оставайся с нами, хорошо будет, мы не обидим тебя, – сказал Шалико.

– Говорю – не останусь! Нечего мне тут делать!

– Пойдешь воровать, резать карманы? Долго ли проживешь с такой профессией?

– Я не собираюсь долго жить, – ответил он, пряча свой взгляд.

Шалико вдруг схватил его за подбородок и повернул к свету.

– А ведь не за Казбеком ты вернулся, по глазам вижу. Не хочется тебе от нас уходить. Вот что, Трофим. Мы завтра собираемся в разведку, пойдем в Куринские плавни на несколько дней. С собою берем ружье, удочки, будем там, между делом, охотиться на диких кабанов, стрелять фазанов, куропаток, ловить рыбу. Будем жарить шашлык и спать возле костра. Нам нужно взять с собою Казбека, вот ты и поведешь его. Согласен?

Трофим не смотрел на Шалико, но слушал внимательно, даже забыл про еду.

– А насчет пальцев, чтобы они у тебя не загребели, проходи практику тут, у нас, разрешаем. Тащи, что хочешь, упражняйся. Ну как, согласен?

Трофим молчал, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, будто отгоняя от себя неприятные мысли.

– А как вернемся, отдадите Казбека? – неожиданно спросил он.

– Да он твой и сейчас. Значит, договорились?

Утром Трофим не ушел из лагеря. Он сидел возле палатки мрачный, подавленный своими мыслями. Это была не внутренняя борьба, а только раздумье над чем-то неясным, еще не созревшим, но уже зародившимся в нем. Видимо, впервые почувствовал беспризорник человеческую ласку. С ним разговаривали как с равным, его не презирали. Парню было над чем призадуматься.

Помню, отряд Шалико Цхомелидзе уходил к Куре поздним утром. Над степью висела мгла. Было жарко и душно. Трофим шел далеко позади, ведя на поводке Казбека. Шел неохотно, вероятно не понимая, зачем все это ему нужно.

Из плавней Трофим вернулся повеселевшим. Он и внешне ничем не был похож на беспризорника: с лица смылась мазутная грязь, и теперь по нему яснее выступили рябинки, волосы распушились и побелели, глаза как бы посветлели. Сатиновая рубашка была перехвачена по животу вместо пояса веревочкой. За плечами висел рюкзак. Мы тогда готовы были пожать друг другу руки, поздравить с успехом. Но Трофим не хотел поселиться в палатке.

Вечером рабочие долго играли в городки. Трофим же отказался принять участие в игре. Сидя возле балагана, он казался совсем чужим и старался оставаться безразличным ко всему окружающему. Но когда среди играющих завязывался спор, парень вдруг настораживался, приподнимался, и тогда выражение его лица напоминало болельщика.

Была уже ночь, когда лагерь угомонился. В палатку заглянула одинокая луна. Кругом было так светло, будто не ночь, а какой-то необыкновенный день разлился по степи. Вдруг до слуха долетел странный звук, словно кто-то ударил по рюшке. Я осторожно выглянул и замер от неожиданности: Трофим один играл в городки несколько поодаль от палаток. Воровски

оглядываясь, он ловким взмахом бросал палку, и рюшки, кувыряясь, разлетались по сторонам. Парень собрал их и, довольный, вернулся в балаган.

В Трофиме, как и в каждом мальчишке, жило неутомимое желание поиграть, порезвиться. Но в той среде, откуда пришел он, всякие забавы считались недостойным занятием, вся мальчишеская энергия тратилась на воровские дела. Мне вдруг стало понятно, почему он вечером с таким нескрываемым напряжением следил за игрой.

Утром меня разбудил громкий разговор.

– Ну и черт с ним! Волка сколько ни корми – он все в лес смотрит.

– Что, Трофим сбежал? – спросил кто-то.

– Ушел и Казбека увел.

– Когда же?

– Ночью. Хитрая bestия. Чего ему было тут не жить? Рану залечили, нянчились с ним больше месяца, чуть ли не из соски кормили, и все бесплатно, а как дошло до работы – пружина ослабла. Ишь, на собаку польстился!

В ноябре мы переехали в Муганскую степь и разбили свой лагерь возле кургана Султан-Буд. Над равниной пронеслись стаи северных птиц, гусей, уток, куликов. Появились стаи дроф. Степь то и дело взрывалась шумом крыльев спугнутых стрепетов. Днем и ночью слышался крик прилетающих на зимовку птиц.

За работой время проходило незаметно. Мы совершали длительные походы в самые глухие места равнины и все реже вспоминали Трофима.

Срочные дела заставили меня побывать в Баку. Перед возвращением в экспедицию я пошел на Шайтан-базар – один из самых старинных и популярных в Баку. Каждый приезжий считал тогда своим долгом побывать здесь, отведать пети<sup>4</sup> или купить восточных сладостей. Базар поражал обилием фруктов и овощей, пестрой толпой, заполняющей узкие проходы, криком торгашей, от которого долго шумело в ушах. Подчиняясь людскому потоку, я попал в мясные ряды и случайно оказался в гуще разъяренной толпы. Люди кричали, ругались, грозили кому-то расправой. Затем я увидел, как женщины ворвались в лавчонку и буквально выбросили через прилавок толстого мясника. Его начали бить сумками, кулаками, бросали в него куски мяса. Он стоял, прикрывая лицо руками и кричал, вздрагивая тяжелым телом. К нему прорвалась маленькая женщина. Она подняла руки и с ужасом на лице стала просить у людей пощады мяснику.

Я кое-как выбрался из толпы, но у первого прохода увидел беспризорников и остановился. Хватаясь за животы, они дружно и с такой откровенностью смеялись, что могли заразить любого человека. «Что их так смешит? – подумал я и подошел ближе. – Да ведь это Хлюст!..» Он тоже узнал меня с первого взгляда. Маска смеха мгновенно слетела с его лица. Парнишка выпрямился и предупредительно толкнул локтем соседа справа. Тот повернул голову.

– Трофим! Здравствуй! – крикнул я, обрадованный неожиданной встречей.

Он вскинул на меня темно-серые глаза, да так и замер.

– Что ты здесь делаешь? – неожиданно вырвалось у меня.

Он неловко улыбнулся и покосился на стоявшую рядом девчонку-беспризорницу.

– Вчера мясник Любку побил, за это мы натравили на него людей, пусть помнут немного.

Толпа затихла. Я взглянул на Любку и вспомнил, что однажды Трофим произносил ее имя. Любке было лет шестнадцать. Она дерзко смотрела на меня, пронизывая черными глазами. Что-то приятное, даже чарующее, было в ее бронзовом продолговатом лице. Тонкая и стройная фигура девушки прикрывалась старым латаным платьем неопределенного цвета. На шее висели бусы из янтаря, цветного стекла, монет и других безделушек. Они еще более подчеркивали ее сходство с цыганкой.

---

<sup>4</sup> Пети – национальное азербайджанское кушанье.

Беспризорница стояла, перекосив плечи и вытянувшись во весь рост. Она была юна, но в ее непринужденной позе, в миловидном лице и даже небрежно расчесанных волосах сквозила самоуверенность девчонки, знающей себе цену. Молчаливая, гордая, она внимательно рассматривала меня, небрежно разгребая песок пальцами босой ноги.

– За что же он вас побил? – спросил я ее.

– Хе! За что нас бьют? За то, что беспризорники, – бойко ответил за нее Хлюст и вдруг улыбнулся. – А мы у него не в долгу!

И он кивнул головой на толпу.

– Заступились за вас?

– Ну да, заступятся! – бросил он пренебрежительно. – Сами придумали. Украла у железнодорожника здоровенного кабана и продали по дешевке этому мяснику – он и рад. А хозяину мы сказали, что мясник его кабана зарезал. Вот из него и выбивают барыши. Гляньте, гляньте, он даже плачет! – и Хлюст громко рассмеялся.

– Пусть не трогает наших, – процедил Трофим.

С минуту помолчали. Толпа расходилась. Толстый мясник сидел возле своей лавчонки и плакал навзрыд, а маленькая женщина прикладывала к его голове мокрый платок.

– А где Казбек?

– Он с нами живет в карьерах, растолстел... – ответил Хлюст.

Мне хотелось о многом спросить Трофима, но разговор не клеился.

– Вы где живете? – спросил он меня, оживившись.

– Я сегодня вечером уеду тбилисским поездом. Приезжайте все к нам в гости к Султан-Буду. И вы, Люба!

– Трошка, пошли! – повелительно бросила девчонка и, демонстративно повернувшись, направилась к боковому проходу.

Ушел и Трофим.

Хлюст посмотрел на меня и, хитро щуря левый глаз, сказал:

– Оставайся, дяденька, у нас, работать научим, жить будешь во как! Покажи-ка пальцы!

Он взглянул на мои руки и, пренебрежительно оттопырив нижнюю губу, отправился следом за своими. Мальчишка не шел, а чертил босыми ногами по пыльной дороге и, скользя между прохожими, успевал на ходу всех рассмотреть. «Ну и Хлюст!» – подумал я.

Я уезжал из Баку, досадуя на себя, что не сумел переломить Трофима.

Поезд отходил. На перроне было безлюдно. Вдруг из-за багажного склада вынырнула подозрительная фигура, осмотрелась и побежала вдоль вагонов, заглядывая в окна. Я сразу узнал Трофима. У него в руках был небольшой сверток. Видимо, он искал меня. Но поезд набирал скорость, я не успел окликнуть Трофима, и он отстал.

В ту ночь я долго не мог заснуть. Перед глазами был Трофим на краю перрона, со свертком в руках, с невысказанными мыслями. Я почувствовал какую-то ответственность за его будущее. В той среде, где он жил, были свои законы, свои понятия о честности и о людях. Проявление задушевных качеств к тем, кто находился за чертой заброшенных подвалов, карьеров, ям, считалось там величайшим позором. Трофим перешагнул этот закон, пришел к поезду... Что же делать? Вернуться, разыскать и забрать его с собой? Но тут же передо мною вставали его спутники – дерзкий Хлюст и красивая Любка, видимо имевшая большое влияние на Трофима.

Экспедиция, закончив работу в Муганской степи, перебазировалась в Дашкесан – горный армянский поселок. Мы жили на станции Евлах, ожидая вагоны для погрузки имущества и лошадей. Как-то вечером сидели у костра.

– Чья-то собака пришла, не поймать ли ее? – сказал один из рабочих, глядя в темноту.

Все повернулись. В тридцати метрах от нас стоял большой пес. Он вытягивал к нам голову, нюхая воздух, и, видимо уловив знакомый запах, добродушно завилял хвостом.

– Да ведь это Казбек!

Я подбросил в костер охапку мелкого сушняка. Пламя вспыхнуло, и в поредевшей темноте позади собаки показался Трофим. Он подошел к костру, окинул всех усталым взглядом.

– Здравствуйте! Хотел искать вас в степи, да вот палатки увидел и пришел.

Мы молча осматривали друг друга. На лице Трофима лежала немая печать пережитого несчастья. Он стоял перед нами доверчивый и близкий...

Была полночь. В палатке давно погасли свечи. Вдруг я почувствовал чье-то прикосновение.

– Вы спите?

– Это ты, Трофим?

– Я. У вас нет кокаина? Дайте немного, на кончик ножа, слышите?... – И его голос дрогнул.

– Что с тобой, Трофим?

– Все кончено. Нет больше Ермака. Я бежал к вам. Дайте мне кокаина, мне бы только забиться...

Мы переехали в Дашкесан и полностью отдались работе. Трофим робко и недоверчиво присматривался к новой жизни. Захваченный воспоминанием или внутренними противоречиями, парень обнимал Казбека и до боли тискал его или молча сидел, с грустью глядя на всех.

Мы должны были противопоставить его прошлому что-то сильное, способное увлечь юношу. Надо было отучить его нюхать кокаин, приучить умываться, носить белье, разговаривать с товарищами и, самое главное, равнодушно смотреть на чужие чемоданы, бумажники, часы. Хорошо, что экспедиция состояла из молодежи, в основном из комсомольцев, чутких, волевых ребят. Они с любовью взялись за воспитание взрослого ребенка.

Между мною и Трофимом установилась дружба. Я по-прежнему не проявлял любопытства к его прошлому, веря, что у каждого человека бывает такое состояние, когда он сам ощущает потребность поделиться своими мыслями с близкими людьми.

Однажды я упаковывал посылку. В лагере никого не было, дежурил Трофим.

– Кому это вы готовите? – спросил он.

– Хочу матери послать немного сладостей.

– У вас есть мать?

– Есть.

Он печально посмотрел мне в глаза.

– А у меня умерла... Мы тогда переезжали жить к бабушке. Отца не помню. Мать заболела в поезде и померла на станции Грозный. Нас с сестренкой взяли чужие... Сестренка скоро умерла, а меня стали приучать к воровству. Сначала я крал у мальчишек, с кем играл. Если попадался на улице, били прохожие, но больше доставалось дома. Били чем попало, до крови и снова заставляли красть. Когда я приносил ворованные вещи, меня пытали, не скрыл ли я чего, и снова били. Они меня научили работать пальцами в чужих карманах, выбирать в толпе жертву, притворяться... В школу не пустили. Я сошелся с беспризорниками, убежал к ним и стал настоящим вором. Мне никогда не было жалко людей, никогда! Вы посмотрите! – и он вдруг, разорвав рубашку, повернулся ко мне спиной. – Видите шрамы? Так меня учили воровать!

...Шли дни, месяцы. Мы продолжали работать в Дашкесане и все больше привязывались к Трофиму. Он платил нам искренней дружбой, но открывался скупой, неохотно. Как-то нам нужно было получить в Ганджинском банке по чеку десять тысяч рублей. Все были заняты, и я послал Трофима, надеясь на него. Помню, как сейчас, он уезжал верхом на серой невзрачной лошаденке, и когда скрылся из глаз, меня вдруг обуяла тревога. А что, если он не вернется? И действительно, в назначенный день Трофим не приехал. Через день в лагерь прибежала его лошадь без седла и узды. Все так и решили: парень сбежал. В ночь я велел Бекюши

запрягать лошадей. Не помню, как мы проехали в темноте по очень крутой и извилистой горной дороге, идущей от поселка Дашкесан.

Рассвет застал нас на равнине. На полях уже были сжаты хлеба. Беюкши поторапливал лошадей. Как только прояснело, впереди показался человек с узелком в руках... Это был Трофим.

Стало стыдно перед ним. Мы остановились.

– Вы куда едете? – удивился он.

– В Ганжу. Меня вызывают к прямому проводу, – ответил я, пытаясь скрыть истинную причину.

Он отрицательно покачал головой и улыбнулся.

– Нет, вы думали, что я сбежал... Напрасно беспокоитесь. Мне ведь некуда уходить от вас, а к деньгам непривычен. Я побоялся везти на лошади, отпустил ее, а сам переночевал в снопе и иду пешком. Так безопаснее.

Мы все же поехали в Ганжу. Всю дорогу меня не покидало чувство неловкости.

Спустя месяц, осенью, мы провожали на действительную службу Пугачева. Все, кроме Трофима, подарили на память Пугачеву какую-нибудь безделушку. В хозяйстве у Трофима еще ничего не было. Он увязался со мной на станцию Ганжа, куда я отправился провожать призывника. Мы не успели к очередному поезду и вынуждены были сутки дожидаться следующего. На вокзале было душно, пришлось поставить близ станции палатку. Трофим весь день отсутствовал и появился только вечером.

– И я тебе принес подарок, – сказал он, взволнованно подавая Пугачеву карманные часы. – Хороши? Нравятся? Вспоминать будешь!

– Где ты их взял? – спросил я, встревоженный догадкой.

– На базаре, – ответил он гордо, будто перед ним стояли его прежние товарищи. – Знаете, и бумажник был в моих руках, да отобрал, стервец, – торопился он поделиться с нами. – Стоят два армянина, разговаривают, будто век не видались, я и потянул у одного из кармана деньги. Откуда-то подошел здоровенный мужик, цап меня за руку. Ты, говорит, что делаешь, сукин сын?! Молчи, пополам, – предложил я ему. Он отвел меня в сторону, отобрал деньги и надавал подзатыльников. Я тут же сказал армянину, свалил все на мужика, ну и пошла потеха...

– Для чего ты это сделал, Трофим? – спросил я, не на шутку обеспокоенный его поведением. – Бери часы и пойдем в милицию. Пора кончать с воровством.

– Что вы, в милицию! – испугался он. – Лучше я найду хозяина и отдам ему, только на базаре будут бить. Страшно ведь, уже отвык...

Я настоял, однако, на своем. В милиции пришлось подробно рассказать о Трофиме. Впервые, слушая свою биографию, он, сам того не заметив, поотрывал на рубашке все пуговицы.

Следователь подробно записал мои показания, допросил Трофима. Случай оказался необычным. Справедливость требовала оставить преступника на свободе, и пока я писал поручительство за него, между следователем и Трофимом произошел такой разговор:

– Будешь еще воровством заниматься?

– Не знаю... Хочу бросить, да трудно. С детства привык.

– Ты где до экспедиции проживал?

– В Баку.

– Городской, значит. С кем ты там работал?

– Жил с беспризорниками.

– Ермака знаешь? Он ведь главарь у вас!

Трофим вдруг насторожился, выпрямился и, стиснув губы, упрямо смотрел поверх следователя куда-то в окно. Пришлось вмешаться в разговор.

– Я ведь сказал вам, что парнишка уже год живет в экспедиции, поэтому вряд ли он что-либо скажет о Ермаке.

– Он знает. У них только допытаться нужно...

Следователь вышел из-за стола и, подойдя к Трофиму, испытующе заглянул ему в глаза. Мелкие рябинки на лице Трофима от напряжения заметно побелели. Видимо, невероятным усилием воли он сдерживал себя.

– Молчишь, значит знаешь! Говори, где скрывается Ермак, – уже разгневанно допытывался следователь.

Трофим продолжал невозмутимо смотреть в окно. Следователя явно бесило спокойствие парня. Он бросил на пол окурков, размял его сапогом, но, поборов гнев, уже спокойно сказал:

– Все равно найдем Ермака. Он от нас не уйдет, а тобой надо бы заняться: видно, добрый гусь. Не зря ли вы ручаетесь за него, ведь подведет, – добавил он, обратившись ко мне.

– Не подведу, коль в жизнь пошел, – ответил за меня Трофим с достоинством и покраснел, может быть, оттого, что еще не был уверен в своих словах.

– Ты только шкуру сменил, а воровать продолжаешь. Так далеко не уйдешь, – сказал следователь, принимая от меня письменное поручительство и часы.

Мы распрощались, и я с Трофимом вышел на улицу. Над станционным поселком плыло раскаленное солнце, затянутое прозрачной полумглой. Давила духота. По пыльной улице сонно шагал караван верблюдов, груженных выюками.

– Разве я мог подумать, что мне придется раскаиваться в своих поступках и просить прощения? – вдруг заговорил Трофим надтреснутым голосом. – Ведь понимаю, что я уже не вор, но какая-то проклятая сила толкает меня на это. Простите. Мне стыдно перед вами, а с другой стороны, трудно отвыкнуть от привычки шарить по чужим карманам. Вы не рассказывайте в лагере ребятам...

– Когда же ты покончишь с воровскими делами?

Трофим молчал. Затаившееся в нем прошлое вдруг выплеснулось сегодня наружу и захватило его с прежней силой. Но в парне уже поселились иные желания, привязанность к людям, от которой ему не так легко было уйти. Он смотрел на меня ясными глазами, в которых не было скрыто раскаяние.

Мы проводили Пугачева. Трофим весь этот день оставался замкнутым. Я же был рад, что события дня породили в нем раздумье.

К сожалению, это был не последний случай.

В 1932 году наша экспедиция вела геотопографические работы на курорте Цхалтубо. Я с Трофимом возвращался в Тбилиси. На станции Кутаиси ждали прихода поезда. Трофим оставался у вещей, а я стоял у кассы. Необычно громко распахнулась дверь, и в зал ожидания ввалился, пошатываясь, мужчина. Окинув мутными глазами помещение, он небрежно кивнул головой носильщику и поставил два тяжелых чемодана возле Трофима.

– Билет... Батуми!.. – пробурчал вошедший, не взглянув на подбежавшего носильщика, и вытащил из левого кармана брюк толстую пачку крупных ассигнаций.

Носильщик ушел, а мужчина, подозрительно взглянув на Трофима, уселся на чемодан и стал всовывать деньги обратно в карман. Но это ему не удавалось. Углы кредиток так и остались торчать из его кармана. Мужчина был пьян. Он тер пухлыми руками раскрасневшееся лицо, мотал усатой головой, отбиваясь от наседающей дремоты, но не устоял и уснул. Вижу, Трофим заволновался, стал подвигаться к спящему все ближе и ближе, а сам делает вид, что тоже дремлет.

Одно мгновенье, и я стоял между ним и деньгами.

– Гражданин, слышите, гражданин, у вас выпадут деньги!

– Что ты пристаешь, места тебе нет, что ли?! – пробурчал спросонья тот. – Ну и люди!

– Приберите деньги, – настаивал я.

– Ах, деньги... – вдруг спохватился он, вскакивая и энергично заталкивая кредитки в карман.

Я повернулся к Трофиму. Он сидел бледный, с искаженным лицом. Из прикушенной губы сбегали на подбородок одна за другой капельки крови. Наши взгляды сошлись. Мы так понимали друг друга, что не было необходимости в словах. Но я не должен был вообще умолчать об этом случае. Уже в поезде, оставшись наедине с ним, я сказал:

– Зачем, Трофим, ты сделал мне сегодня больно?

– Вы мне верите? – вдруг спросил он, окинув меня искренним взглядом. – Я деньги вернул бы грузину, они мне не нужны. Виновата привычка. Знаю, нехорошо поступаю, но куда мне идти с таким прошлым?...

Трофим никуда не ушел. Он окончательно прижился у нас, освоился с лагерной обстановкой, с общежитием. Правда, ранее привыкнув к острым ощущениям, к дерзости, он долго не мирился с затишьем. Но время делало свое дело. Труд постепенно заполнил образовавшуюся в душе Трофима пустоту. В характере парня пробуждались черты доброго, отзывчивого товарища, и он заслуженно стал гордостью всего коллектива. Но прошлое еще напоминало Трофиму о себе.

Мы делали карту Ткварчельского каменноугольного месторождения. Шел 1933 год. Я собирался ехать в отпуск, проведать мать. Все уже было готово к отъезду. Ждали машину. Кто-то из провожавших сообщил, что видел Трофима с беспризорниками. Меня всегда беспокоили такие встречи, и я немедленно отправился на розыски.

Трофим оказался возле подвесного моста через реку Гализгу. С ним был молодой парень и Любка. Я остановился, не зная, что предпринять. Любка заметно подросла, возмужала. Черты ее лица стали еще выразительнее. Она в упор смотрела на Трофима, потом вдруг шагнула к нему и, развернувшись, хлестнула рукою по щеке. Раз, второй, третий. И все звонче, яростнее. Она была бесподобна в гневе! И вдруг все в ней погасло. Она отошла от Трофима, упала на канатные перила и заплакала.

«Нет, это уже не дружба. Это настоящая любовь», – подумал я, живо представив себе, какая опасность грозит Трофиму.

Тот подошел к ней, положил руку на плечо, но не сказал ни слова.

– Не хочешь вернуться? Уйди, продажная сволочь! – крикнула Любка, вскакивая и торопливо поправляя на голове косынку. Она хотела еще что-то сказать, но захлебнулась от злости. Оттолкнув Трофима, девушка схватила за руку парня, сидевшего рядом, и пошла с ним, легко скользя ногами по настилу. Уходила гордая, красивая.

Трофим бросился догонять их. Он бежал по раскачивающемуся мостику, хватался за канат и, наконец, остановился.

Я подошел к нему, загородив проход. Под нами пенистыми бурунами неслась Гализга. Вдали виднелись заснеженные вершины Кавказского хребта. Это было осенью. Леса пылали золотым отливом.

– Ты любишь ее? – спросил я, прерывая молчание.

Легкий румянец покрыл лицо Трофима.

– Я уговаривал ее остаться у нас. Да разве она бросит свое дело! Грозит мне, если не вернусь...

– Как она узнала, что ты здесь?

– Через беспризорников. После бегства Ермака из Баку там теперь Любка всеми руководит. Второй раз приехала.

– Об этом ты мне не говорил, а ведь обещал ничего не скрывать. Чем же Любка грозит?

– Она все может сделать...

– Ты хотел уйти с ней?

Трофим молчал. Видно, трудно ему было устоять против настойчивости такой властной и красивой девчонки. Что же делать? Не ехать в отпуск я не мог. Оставить Трофима одного было рискованно. Решил взять его с собой.

Он запротестовал. Ему, несомненно, хотелось еще встретиться с Любкой. Но я проявил настойчивость, и вечером того же дня мы с ним находились на теплоходе «Украина».

Моя мать знала о Трофиме из писем, и он не был для нее безразличен. Когда же мы приехали и она увидела его, вспыхнула к этому юноше настоящей материнской любовью, принесшей ей на старости лет много радости. А сколько заботы было! Трофиму за обедом лучший кусочек положит, и горбушку припасет, и сливок холодных, и початку молодую сварит, все для него, как для самого младшего сына. Парень бывало уснет, а она усядется у его изголовья, наденет очки и начнет штопать носки, белье, да так и задремлет, сидя возле него.

Во время этого отпуска Трофим сдружился с моей маленькой дочкой Риммой и племянницей Ирой. Странно было наблюдать за этим взрослым человеком, впервые попавшим в общество детей. Рассказывать им ему было нечего. Он не знал никаких игр, никогда не строил домики, не играл в прятки. Дети же необъяснимым чутьем все это угадали с первой встречи. И чего они только не делали с ним! То он был конем, на котором они путешествовали по двору, то петухом, и тогда его «кукареку» раздавалось чуть ли не на всю улицу. Играл он с увлечением, будто пытался восполнить утраченное детство.

Иногда, набегавшись, дети усаживались возле Трофима и рассказывали ему о коньке-горбунке, о богатырях, красной шапочке. Перед ним открывался сказочный мир, о котором он никогда не слышал...

Тогда Трофим впервые жил в семье, узнал материнскую любовь, видел, как проходит у ребят детство.

О прошлом он и теперь не любил рассказывать и только в минуты откровенности, когда мы оставались с ним наедине, вспоминал какой-нибудь случай из беспризорной жизни. Иногда говорил и о Ермаке. Это имя, как мне казалось, всегда для него являлось олицетворением мужества.

Мы переехали в Сибирь и включились в большую, интересную работу по созданию карт малоисследованных районов. Трофим возмужал, но не отличался хорошим здоровьем. Годы, прожитые в подвалах, и злоупотребление кокаином не дали молодому организму как следует окрепнуть. Трофим побывал с нами на Охотском побережье, в Тункинских Альпах, в Саянах, на Севере.

В 1941 году он ушел добровольцем на фронт. Война разлучила нас на пять лет, но экспедиция осталась для него родным домом. Он присылал нам проникновенные письма и всегда вспоминал в них как самое светлое первую нашу встречу у дороги и лагерь в Мильской степи. Ко времени демобилизации Трофим стал членом партии, имел звание капитана танковых войск. Нас он разыскал на Нижней Тунгуске и полностью отдался работе. Армейская жизнь, походы, бои влили в него большую жизнерадостность.

Как быстро пролетели годы! Ему ведь уже перевалило за тридцать лет.

Однажды мы с ним вечером засиделись в палатке.

– Не пора ли тебе, Трофим, жениться? Посмотри-ка, сколько у нас хороших девушек, – сказал я ему.

– Это не мои невесты.

– Неужели ты еще не забыл Любку?

– Нет. Да и не хочу забывать.

Спустя несколько лет, осенью, мы отдыхали с ним в Сочи. С возрастом у него все больше росла любовь к детям. Стоило Трофиму появиться на пляже, как ребятишки окружали его. Играя с детворой, он и сам превращался в ребенка. «Дядю Трошу» знали даже на соседних пляжах.

Как-то к Трофиму подошел бойкий мальчонка лет четырех, в новеньких голубых трусиках и серьезно потребовал покатать его.

– А у тебя проездной билет есть? – спросил Трофим.

– Есть, – ответил тот уверенно и исчез среди загоравшей публики.

– На, – возвратившись, сказал он и с гордостью подал фабричную этикетку, видимо, от своих трусиков.

– Билет-то, кажется, просроченный, – пошутил Трофим. – Как тебя зовут?

– Трошка, – ответил мальчик бойко.

– Трошка? – удивился тот, и лицо его вдруг стало грустным. Ему, вероятно, вспомнилось теперь уже далекое прошлое, заброшенные подвалы, трущобы. Овладев собой, он сказал:

– Садись! Тезку покатаю бесплатно!

Мальчик, довольный, влез на спину Трофиму, обнял пухлыми ручонками за шею, и «конь», окруженный детворою, побежал по гальке вдоль берега. Только скакал он неуверенно, вяло, словно отяжелел.

А следом бежала женщина и кричала:

– Трошка... Трошка...

Трофим вдруг остановился.

– Это мама меня зовет, – сказал мальчик, слезая с «коня» и устремляясь к матери.

Женщина и Трофим встретились взглядами, да так и замерли.

– Неужели... Любка?

– Трошка!.. – воскликнула та, бросаясь к нему.

Приумолкла детвора. Море дохнуло прохладой. Ленивая волна пробежала по гальке. Над пляжем беззаботно кружились крикливые чайки. Трофим и Любка стояли молча, держась за руки. Они могли так много сказать друг другу, но слова словно выпали из памяти. Какой безудержный прилив счастья должен испытать человек, когда он, спустя много-много лет, после томительных страданий встретил друга, к которому так долго хранил чувство любви и во имя которого переживал одиночество!..

Любка смотрела в открытые глаза Трофима. Она угадала все и смело потянулась навстречу.

Над морем плыло раскаленное солнце. В потоке расплавленных лучей серебрились крылья чаек. Жаркий ветерок нехотя скользил по пляжу. Детвора расходилась.

– Здравствуйте, Люба! – сказал я, протягивая ей руку.

Она покосилась на меня и, всматриваясь, пыталась что-то вспомнить.

– Ах, это вы! Неужели с тех пор вместе?

– Да, с тех пор мы вместе.

– Нина Георгиевна, – отрекомендовалась она, и мы пожали друг другу руки. – Любка – это было не мое имя.

...Мы с Трофимом занимали комнату в санатории «Ривьера». Вечером в тот же день Нина Георгиевна пришла к нам, и сразу завязался разговор о наших встречах, о прошлом.

Передо мною была женщина, лет тридцати. Те же пылкие глаза, тонкие губы и раздвоенный подбородок. На правой щеке – чуть заметный шрам, а под глазами уже наметилась сетка морщинок. Во взгляде не осталось прежней девичьей дерзости. Нина Георгиевна была одета просто, но со вкусом. С прямых плеч низко спадало шифоновое платье, перехваченное в талии тоненьким пояском. Обнаженные полные руки лоснились от загара. Крупные локоны черных густых волос спадали на смуглую шею.

– Могла ли я когда-нибудь поверить, что дерзкая девчонка Любка, профессиональная преступница, полюбит людей и труд? После бегства Ермака из Баку я стала заправилой. Мне нравилось командовать мальчишками, меня боялись, слушались. Провинившихся я с наслаждением шлепала по щекам. А теперь страшно подумать, какое терпение проявлял к нам советский народ и чего он только не прощал нам. А сколько раз меня щадил закон! Но все кончилось тюрьмой. Глупая была, и там задавала концерты, да еще с такими вариациями! Позже люди надоумили бросить все и жить, как все живут. Из тюрьмы вышла – не знаю, куда идти.

Одна. Ни к чему не приспособлена. Поступила на табачную фабрику, и опять люди приласкали меня, определили в школу для взрослых. И словно второй раз родилась. Скоро бригадиром стала, замуж за нашего же инженера вышла. Теперь, когда на душе покой, а вокруг большая интересная жизнь, жутко оглянуться на прошлое. Нет в нем настоящего детства, ни радости юношеских дней... Смотрю я на своего маленького Трошку и завидую.

Трофим все свободное от процедур время проводил с ней. Перед отъездом он ходил мрачный. И вот однажды в нашей комнате я застал заплаканную Нину Георгиевну и очень расстроенного Трофима.

– Будьте вы моим судьей, – сказала она, обращаясь ко мне, и в ее голосе послышалось отчаяние. – Я люблю Трофима, но я замужем, у меня сын и больной туберкулезом муж. Могу ли я бросить человека, который так много сделал для меня и для которого мой уход равносителен смерти? Трофим не хочет понять, что это было бы бесчеловечно.

– Пойми и ты, Нина, – перебил ее Трофим, – не во имя ли большого чувства к тебе я остался одиноким? Я пронес любовь через годы, бои, бессонные ночи. Пятнадцать лет я берег надежду, что мы встретимся. И теперь ты зываешь к человечности. Разве я также не имею права хотя бы на маленькое счастье? Впрочем, решай сама. Я не хочу выпрашивать, я ко многому привык в жизни.

– Ты достоин и счастья, и хорошей семьи, и мне больно выслушивать эти упреки, – сказала Нина, с трудом сдерживая волнение. – Жизнь оказалась куда сложнее, чем мы ее представляли когда-то в подвалах. Я по-прежнему люблю тебя, Трофим, и ты мне самый близкий человек. Но я не могу, понимаешь, не могу разрушить семью... И ты не зови меня к себе. Может быть, это по отношению к тебе жестоко, но знаешь ли ты, какими страданиями я заплачу за нашу встречу?!

Она вдруг отошла к раскрытому окну. Плакала молча. А за окном, как в день их первой встречи, море ленивой волной перебирало гальку и так же серебрились в лучах раскаленного солнца крылья беззаботных чаек.

Мы с Трофимом уехали в Саяны в экспедицию, а Нина Георгиевна вернулась в Ростов к мужу.

Трофим загрустил. Ни горы, ни тайга не веселили его. Работой глушил он свое чувство. Не в меру стал рисковать. А Нина Георгиевна, видимо, решила окончательно порвать с ним. Вот уже год, как она перестала отвечать на письма. Даже на мои.

Все это вспомнилось мне в ту ночь на Зейской косе, когда мы получили тревожную радиogramму. Я не допускал мысли, что события на Алгычанском пике как-то связаны с настроением Королева. Нет. Трофим слишком любил жизнь! Но что же случилось в горах?

Не отказавшись от намерения посетить весной район стыка трех хребтов: Джугдыра, Станового и Джугджура, мы оставили на косе часть своего груза. Здесь же дождутся нашего возвращения и проводники с оленями. Кириллу Родионовичу Лебедеву я предложил пробиваться со своими людьми на нартах в верховья реки Май и разворачивать работу. А сам с Мищенко и Чернышевым вылетел на помощь Трофиму.

#### **IV. К берегам Охотского моря. – На подступах к седловине. – «Джугджур гневается». – Какое счастье огонь! – Эвенкийская легенда. – У подножия Алгычанского пика**

В штабе пришлось задержаться. Нужно было все до мелочи предусмотреть, отобрать горное поисковое снаряжение. А главное, выслушать советы врачей, что делать в том случае, если мы найдем своих товарищей с отмороженными конечностями, истощенными от голода или изувеченными при какой-то катастрофе. Да и географические сведения о районе необходимо было иметь с собою. Эти сборы отняли у нас полдня.

Алгычанский пик, который занимал теперь все наши мысли, расположен в центральной части Джугджура, близ Охотского моря. В описании геодезиста Е. Васюткина, побывавшего у этой части хребта на год раньше нашего, сказано: «...пик не является господствующей вершиной, но он очень скалистый и труднодоступный. Его окружают глубокие цирки, кручи и пропасти. Нам удалось подняться на пик только с западной стороны. Этот путь идет по единственной ложине, очень крутой, и требует при подъеме большой осторожности. В других местах не подняться. Лес для постройки пирамиды на вершине Алгычана можно вынести только в марте, когда ложина забита снегом».

Вечером второго марта мы уже летели над Охотским морем, вернее над разрозненными полями льдов. Под нами изредка проплывали скалистые островки да иногда слева обозначался мрачный контур материка. Открытое же море виднелось строгой чертой справа, далеко за льдами.

– Машина на подходе, – неожиданно предупредил нас командир.

Самолет, словно гигантская птица, ворвался в бухту и, пробежав по ледяной дорожке, остановился. Мы стали выгружаться. Слева по широкому распадку и по склонам сопки раскинулся поселок. На берегу расположились склады, судоремонтные мастерские и здания рыбзаводов. За поселком виднелись горы. Вклиниваясь далеко в море, они образуют бухту и защищают ее от штормов и стужи.

К Алгычанскому пику нам предстояло добираться на оленях. Но прежде чем тронуться в этот незнакомый путь, необходимо было собрать сведения о местности, которую придется пересечь, добираясь до лагеря Королева.

Вечером я зашел к председателю райисполкома. Меня встретил высокий мужчина с крупными чертами лица и пронизательным взглядом.

– Мы всегда рады новому человеку, нечасто нас балуют гости, – сказал он, убирая со стола бумаги. – Я получил телеграмму, подписанную Плоткиным, о затерявшихся людях и с просьбой выделить проводников для вас. Раздевайтесь, садитесь сюда вот, поближе к печке, и рассказывайте, что случилось, только прошу поподробнее.

Я изложил ему все, что было мне известно о подразделении Королева и о планах поисков.

– Зимой в глубину Джугджурского хребта местные жители почти не ходят. Это ведь мертвые горы: камень да мхи, кажется, больше ничто там не растет, – говорил председатель, изредка поглядывая на стену, где висела карта побережья. – Но я, признаться, не верю, чтобы там могли заблудиться геодезисты, да еще опытные таежники... Случай, конечно, загадочный. Нет ли тут чего-нибудь другого? Не сорвались ли они со скалы? И нехорошо, что все это случилось именно на Джугджуре, далеко от населенных пунктов и в зимнее время.

– Где бы человек ни потерялся, в горах или тайге, одинаково плохо, – заметил я.

– Но хуже на Джугджуре, – перебил меня председатель, – недоброй славой пользуется он у наших эвенков, неохотно посещают они эти горы и, видимо, не без основания. Впрочем, пусть это вас не смущает. Страшного ничего нет, поедете, сами увидите. Мы выделили надежных проводников, хороших оленей. Надо торопиться. Кто знает, какое несчастье постигло людей...

– Вы уж договаривайте до конца. Почему о Джугджуре сложилась плохая слава?

– Джугджур – это горный район неукротимых ветров.

– Кажется, все тут у вас подвластно неукротимым силам стихии?

– Да, ветру, – уточнил председатель. – Здесь ведь длительные часто бывают пурги. Ветер – это наше несчастье. Суровый облик побережья создан главным образом им, ветром. То он приносит сюда слишком много влаги, тумана, то продолжительный холод.

– А море со своими штормами, бурями, подводными скалами разве меньше причиняет неприятностей?

Председатель громко рассмеялся и, заметив мое смущение, предложил папироску. Мы закурили.

– Извините, но я должен разочаровать вас. Нелестное мнение о нашем море сложилось еще во времена первых мореплавателей. Для парусных судов, на которых они предпринимали свои рискованные путешествия, море действительно было опасным. Оно приносило им много бедствий. Но ведь это было давно. Теперь на смену неуклюжим судам со сложным парусным управлением пришли пароходы, катера с мощными двигателями, и хотя море по-прежнему шалит, моряки давно уже перестали называть его неукротимым. Человек ведь ко всему быстро привыкает, сживается. Да и не в этом дело. Главное – что дает море человеку? Ради чего он пришел сюда? Море – наше богатство, его сокровища неизмеримы. Вы только подумайте, сколько тут работы для ученого, натуралиста, просто для человека, любящего природу! Мы еще мало изучили морские пастбища рыб, жизнь нерпы, птиц, вообще мало знаем морскую флору, фауну. Пользуемся пока что только скухими подачками моря. А оно ждет смелых разведчиков. И не из глубины материка нам, северянам, нужно ожидать изобилия. Надо добывать его из недр нашего моря и посылать туда, на материк...

Мы расстались в полночь.

Я возвращался берегом, огибая бухту. Было тихо, пустынно, и только струйка дыма, словно живой ручеек, просачивалась от палатки в глубину потемневшего неба.

Море дышало предутренней прохладой. Румянился восток, и береговые скалы медленно выползли из темноты уже поредевшей ночи. В палатке на раскаленной печке булькал чайник. Пахло распаренным мясом.

– Люди есть? – послышался внезапно громкий голос, и в палатку заглянуло скуластое лицо. – Мы проводники, приехали за вами. Куда кочевать будем? – спросил молодой эвенк, просовываясь внутрь. Следом за ним влез и второй проводник.

– Садитесь. Сейчас завтрак будет готов, за чаем и поговорим, – ответил Василий Николаевич Мищенко. – Звать-то вас как?

– Меня Николай, а его Афанасий. Мы из колхоза «Рассвет», – бойко ответил молодой эвенк.

Афанасий утвердительно кивнул и стал стягивать с себя старенькую дошку. Затем сбил рукавицами снег с унтов и, подойдя к печке, протянул к ней ладони со скрюченными пальцами. Ему было лет пятьдесят пять. Николай же продолжал стоять у входа. Лихо сбив на затылок пыжиковую ушанку, он с любопытством осматривал внутренность палатки.

– Какое место кочевать будем? – снова спросил он.

– Поедем через Джугджурский перевал, а там видно будет, – ответил я.

– Хо... Джугджур?! – вдруг воскликнул Афанасий. Это прозвучало в его устах как нечто грозное. – На лешего гнать это время оленей через перевал?

И Афанасий, повернувшись к Николаю, перебрался с ним несколькими словами на родном языке. Наш маршрут явно встревожил проводников.

– Что вас пугает? – спросил я.

– Ничего, переедем, только обязательно торопиться надо, пока небо не замутило, – ответил уже спокойно Афанасий.

Позавтракав, мы свернули лагерь.

По заснеженной дороге дружно бежали олени упряжки. На передней паре сидел Афанасий. Он нет-нет да и подстегнет поводным ремнем праворучного быка. Упряжка рванется вперед и взбудоражит обоз, но через минуту олени сбавляют ход и снова бегут спокойно размашистой рысью.

Скоро дорога потянулась в гору. Я шел впереди обоза и чем выше поднимался, тем шире разворачивалась предо мною береговая панорама. Прибрежные склоны гор подвержены влиянию холодных ветров и одеты бедно. Природе не удалось создать здесь пышного наряда и красивого пейзажа. Деревья – горбатые и полусохшие кусты – лежат, прижавшись к земле, а мох растет только под защитой камней. Но растительность не вызывает сожаления. Наоборот,

чувство восторга охватывает человека при знакомстве с нею. Радует упорству, с каким эти деревья и мхи защищают свою жизнь. Ни ветер, ни стужа не в силах убить их. Лиственницы, березки, стланики, ольхи не только живут, но и упорно стремятся отвоевать себе еще более крутые места у самой кромки моря.

К часу дня мы добрались до последнего перевала Прибрежного хребта. Впереди видно Алдоминское ущелье, а дальше показались заснеженные горы. То был Джугджур. Высоко в небо поднимаются его скалистые вершины. Широкой полосой тянутся на север его многочисленные отроги. Именно там, в глуши скал и нагромождений, быть может, боролась за жизнь горсточка близких и дорогих нам людей. Чем ближе мы подбирались к хребту, тем настойчивее овладевала мною тревога. «Неужели они погибли?» – думал я, всматриваясь в неприветливый облик гор.

Дальше путь шел по реке Алдоме, берущей свое начало в центральной части Джугджурского хребта. Тут совсем другая растительность. Прибрежные горы прикрывают долины от холодных и губительных морских ветров, и это создало деревьям нормальные условия для роста. Мы видели здесь настоящую высокоствольную тайгу. Огромные лиственницы, достигающие тридцатипятиметровой высоты, толстенные ели, березы, тополя украшают долину. Они жмутся к реке и растут только на пологих склонах, защищенных от ветра. Сам же Джугджурский хребет голый. На нем ни кустика, ни деревца. На сотни километров лишь безжизненные курумы<sup>5</sup>. Мне никогда не приходилось видеть более печальный пейзаж. Ни суровое побережье Ледовитого океана, ни тундра, ни море не оставляли во мне такого впечатления безнадежности и уныния, как Джугджурский хребет. Хотелось скорее пройти, не видеть его. «Не поэтому ли у местных жителей эвенков и живет недобрая молва про Джугджур?» – рассуждал я, вспоминая разговор в райисполкоме.

Дорога, по которой мы ехали, местами терялась в кривунах реки, но Афанасий с удивительной точностью помнил все свороты, объезды. Мы ехали наверняка.

Над нами все выше поднимались туполобые горные вершины, отбеленные убежавшим к горизонту солнцем. Долина постепенно сужалась и у высоких гор раздваивалась глубокими ущельями. Караван свернул влево. День кончился. Все чаще доносился окрик Афанасия, подбадривающего уставших оленей.

Уже стемнело, когда упряжки с ходу выскочили на высокий борт реки и остановились на поляне. Здесь предполагалась ночевка. До перевала оставалось недалеко, а до Алгычанского пика день езды. Мы сразу принялись за устройство лагеря.

На поляне всюду виднелись следы старинных таборов и множество пней от срубленных деревьев.

Проводники наготовили бересты, сушника, дров, все сложили рядом с палаткой, как нужно для костра, но не подожгли.

– Для чего это вам? – спросил я Афанасия.

– Хо... Джугджур – дорога лешего, худой. Может, завтра назад придем, костер зажигать сразу будем. Эвенки постоянно так делают.

– Что ты, что ты! Назад не вернемся, – пешком, но уйдем дальше, – вмешался в разговор Василий Николаевич.

Афанасий бросил на него спокойный взгляд.

– Люди глаза большой, а что завтра будет – не видят, – отвечал он эвенкийской поговоркой.

За скалой давно погасла заря. Темно-синим лоскутом растянулось над лагерем звездное небо. Уже давно ночь. Мы не спим. Олени бесшумно бродят по склону горы, откапывая из-под снега ягель.

---

<sup>5</sup> Курумы – каменные потоки, сползающие по крутым склонам гор.

– Завтра надо непременно добраться до палатки, – проговорил Василий Николаевич, выбрасывая ложкой из котла пену мясного навара.

– Славно было бы застать их у себя, только не верится, чтобы Трофим Николаевич заблудился. Это ведь горы, тут поднимись на любую вершину – и все как на ладони. Что-то другое с ними случилось.

Зимой на вершинах Джугджурского хребта, в цирках, по склонам и даже на дне узких ущелий не собрать и беремя дров, чтобы отогреться, а если у заблудившегося человека не хватит сил добраться до своей палатки или спуститься в долину к лесу, он погибнет.

Перед сном я вышел из палатки. Все молчало. Дремали скалы, посеребренные инеем. На темном фоне неба виднелись черные силуэты пиков. Мириады звезд горели над ними причудливыми огоньками. Как легко дышалось в эту морозную ночь! Хотелось верить, что где-то недалеко, в непробудном молчании гор, борются за свою жизнь наши товарищи.

Еще не рассвело, а мы уже стали пробираться к перевалу. На небе ни единого облачка. Утро этого столь памятного всем нам дня было такое, что лучшего, кажется, и не придумаешь.

Извилистое ущелье, по которому караван поднимался к перевалу, глубоко врежется в хребет. Оленям приходится то обходить глыбы скал, скатившихся в ущелье, то спускаться на дно заледеневшего ручья, то взбираться на верх каменистых террас. Рвутся упряжные ремни, нарты скатываются вниз ломаясь. Потребовалось много времени, чтобы привести в порядок обоз. Продвигались медленно, а конца подъему не было видно.

– Скоро будет перевал? – спросил я у Афанасия, когда мы выбрались с ним на борт глубокой промоины.

Он взглянул на хребет, и что-то вдруг встревожило его.

– Хо... Однако дальше не пойдем, Джугджур гневается... – сказал он, показывая на вершину, над которой вилась длинная струйка снежной пыли. Она то вспыхивала, то гасла и исчезала.

– Это же ветер, – попытался я успокоить Афанасия.

Он ничего не ответил. Нас догнали остальные. Проводники о чем-то стали совещаться.

– Худо будет, надо скорее назад ходить, – решительно заявил Николай.

– Да вы с ума сошли, ей-богу! Ведь рукой подать до перевала. Чего испугались? – запротестовал Василий Николаевич.

– Видишь, пурга будет, говорю, назад идти нужно. Джугджур не пропустит, пропасть можем, – раздраженно настаивал Николай.

– Выдумали какую-то пургу, а на небе и облачка нет, – удивился радист Геннадий.

Но пока мы убеждали друг друга, снежная пыль на вершине хребта исчезла. Вокруг, как утром, стало спокойно, и солнце щедро обливало нас потоками яркого света. Решили идти на перевал.

Дальше дорога была еще тяжелее. Зажатое скалами ущелье становилось все уже, все чаще путь преграждали обнаженные россыпи и рубцы твердых надувов. Необъяснимым чутьем, присущим только жителям гор, наши проводники угадывали проход между обломками скал. Олени выбивались из сил, люди помогали им взбираться на препятствия.

Но вот впереди показалась узкая щель, разделившая хребет на две части. Это был перевал. До него оставалось всего лишь полтора километра крутого подъема. Взбираться пришлось по дну ручья. На гладком льду олени падали, раздирали до крови ноги, путались в упряжных ремнях и все чаще и чаще ложились, отказываясь идти. За час мы кое-как поднялись на полкилометра. Дальше путь перерезали небольшие водопады, замерзшие буграми. Олени не пошли. Пришлось взяться за топоры, чтобы вырубить во льду дорогу.

Еще сотня метров подъема, и мы будем на перевале. Над нами высоко прошумел ветер. Мимо пронесся вихрь, бросая в лицо заледеневшие крупинки снега. Сразу закурились вершины гор и от них понеслись в голубое пространство волны белесоватой пыли.

– Не послушались, видишь, пурга!.. – крикнул Афанасий, бросаясь с Николаем к оленям, которых мы оставили внизу.

Из глубины долины надвигалась мутная завеса непогоды. По ущелью метался густой колючий ветер, то и дело меняя направление. Ожили безмолвные скалы, завывали щели, снизу хлестнуло холодной струей. Ветер продолжал кружиться над нами, вздымая столбы снежной пыли. Природа будто нарочно поджидала, когда мы окажемся под перевалом, чтобы обрушиться на нас со всей своей яростью.

Что делать? Как быть с нашими товарищами? Неужели им не суждено дожидаться нас? Все это мгновенно пронеслось в голове. А погода все больше и больше свирепела. Холод сковывал дыхание, заползал в щели одежды и ледяной струей окатывал вспотевшее тело. Сопровивляться не было сил, и мы без сговора бросились вниз, вслед за проводниками.

Проводники Афанасий и Николай нервничали, развязывая упряжные ремни, и отпускали на свободу оленей. Геннадий чертыхался, проклиная Джугджур. Только теперь мы поняли, какой опасности подвергали себя, не послушавшись Афанасия. Ветер срывал с гор затвердевший снег, нес неведомо куда песок, мелкую гальку. Он сеял всюду смерть и ужас. Разве только ураган в пустыне может поспорить с этой пургой.

Задерживаться нельзя ни на минуту. Вокруг потемнело. Где-то справа от нас с грохотом сползал обвал. Ущелье мучительно стонало. Все исчезало с глаз, и только под ногами – истоптанный клочок бугристого снега.

Захватив с собою две нарты с палаткой, печью, постелями, продуктами, мы бросаемся вниз навстречу ветру. Глаза засыпает песок, лицо до крови секут колючие комочки снега. Над нами скалистые террасы, глыбы упавших скал, скользкие надувы. Мы ползем, катимся, проваливаемся в щели и непрерывно окликаем друг друга, чтобы не затеряться.

– Гооп... гооп... – доносится сверху тревожный голос Василия Николаевича, оставшего с оленями и нартой. Я останавливаюсь. Но задерживаться нельзя ни на минуту: жгучая стужа пронизывает насквозь, глаза слипаются, дышать становится все труднее.

Знаю, что с Василием Николаевичем стряслась беда. Возвращаюсь к нему, кричу, но предательский ветер глушит голос. Проводники где-то впереди. Следом за мною нехотя плетется Кучум. Собака, вероятно, инстинктивно понимает, что я не туда иду, что только в густом лесу, возле костра, можно спастись в такую непогодь. Ее морда от влажного дыхания покрылась густым инеем. Она часто приседает, визжит, как бы пытаясь остановить меня. Иногда далеко отстает и жалобно воеет. Но слепая преданность заставляет ее снова и снова идти за мною.

Я продолжаю подниматься выше. А в голове клубок нераспутанных мыслей. Может быть, мы разминулись и Мищенко уже далеко внизу? Найду ли я их там? Трудно спастись одному без топора, если даже и доберусь до леса. Нужно возвращаться, тут пропадешь... А если Василий Николаевич не пришел и ждет помощи? Что будет тогда с ним? – И, не раздумывая больше, я стал подниматься выше.

– У-юю... у-юю... – кричу я, задерживаясь на снежном бугре.

Кучум вдруг бросается вперед, взбирается на террасу и скрывается меж огромных камней. Я еле поспеваю за ним.

Василий Николаевич вместе с оленями и нартами провалился в щель. Сам выкарабкался наверх, а оленей и груз вытащить не смог.

– Братко, замерзаю, не могу согреться, – хрипло шепчет он, и я вижу, как трясется его тело, как стучат зубы.

Следом за мной на крик поднялся и Геннадий. Прежде всего мы отогреваем Василия, затем вытаскиваем оленей. А пурга кружится над нами, воеет голодным бесом, и как бы в доказательство ее могущества затажно грохочет обвал.

Через час мы уже были далеко внизу, но до становища оставалось километра три. Дорогу перемело. Идем наобум, придерживаясь склона. За мутной завесой бурана ничего не видно,

только изредка попадаются каменные овраги да сиротки-лиственницы, на несчастье свое поселившиеся в этом холодном и скупом ущелье. Под снегом оказалась предательская поросль стланика. Олени стали проваливаться, нарты переворачиваться, участились задержки. Животные заметно слабеют. Мы не можем отогреться, холод, словно коршун, овладевает добычей, все глубже и глубже запускает когти. Он проникает во все поры тела, леденит кровь. Но впереди нас ждет костер. Скорее бы добраться до поляны! Бойка и Кучум поминутно падают в снег и зубами выгрызают лед, приставший к подошвам лап.

А идти все труднее, стужа сковывает челюсти, запаивает ноздри.

Мы передвигаемся молча. Заледеневшие ресницы мешают смотреть. Вначале я оттирал щеки рукавицей, но теперь лицо уже не стало ощущать холода. Гаснет свет, скоро ночь, сопротивляться буре нет сил. Все меньше остается надежды выбраться из этого стланика. Решаем свернуть вправо и косогором пробираться к скалам. Снег там должен быть тверже. По-прежнему через двадцать-тридцать метров олени и нарты проваливаются. Мы купаемся в снегу. Я чувствую, как тает за воротником снег, и вода, просачиваясь, медленно расплзается по телу, отбирая остатки драгоценного тепла. Хочу затянуть потуже шарф на шею, но пальцы одеревенели, не шевелятся. Почему-то прекратились боли в ногах, будто ступни примерзли к стелькам унтов, а кровь отступает в глубину тела. Трясет как в лихорадке. Иду еще медленнее. Пурга, кажется, уже готовится совершить свое страшное дело.

– Остановитесь, отстал Геннадий, – кричит где-то позади Василий Николаевич.

Остановились. Мокрая от пота одежда заледенела коробом и уже не предохраняет от холода. Хочется привалиться к сугробу, но внутренний голос предупреждает: это смерть!

– У-люю... у-люю... – хрипло кричит Мищенко, и из мутных сумерек показывается Геннадий. Он шатается, с трудом передвигает ноги, ветер силится свалить его в снег. Мы бросаемся к нему, тормозим, трясем и сами немного отогреваемся.

– Надо петь, бегать, немного играть, мороз будет пугаться, – советует Афанасий, кутаясь в старенькую дошку и выбивая челюстями мелкую дробь.

Наконец-то нам удается выбраться к скалам. Тут действительно снег тверже и идти легче. Мы немного повеселели. Все кричим какими-то дикими голосами, пытаемся подпрыгивать, но ноги не сгибаются в суставах, и мы беспомощны, как тюлени на суше. К ночи пурга усилилась, стало еще холоднее. Мы уже не можем отогреться движениями. Мысли становятся неясными. Тело прошивает колючая стужа. А тут, как на беду, сломались обе нарты. Мы едва дотащили их до поляны.

Густая тьма сковала ущелье. Уныло шумит тайга, исхлестанная ветром. Мы в таком состоянии, что дальше не в силах продолжать борьбу. Только огонь вернет нам жизнь. Но как его добыть, если пальцы окончательно застыли, не шевелятся и не держат спичку? Все молчат, и от этого становится невыносимо тяжело.

Афанасий стиснутыми ладонями достает из-за пояса нож, пытается перерезать им упряжные ремни, чтобы отпустить оленей, но ремни закалились, нож падает на снег. Я с трудом запускаю руку в карман, пытаюсь омертвевшими пальцами захватить спичечную коробку, и не могу. Неужели конец? Нет, подожди, смерть! Не все кончено!

Василий Николаевич ногой очищает от снега сушняк, приготовленный вчера проводниками для костра, и ложится вплотную к нему. Мы заслоняем его от ветра. Он, зажимая между рукавицами спичечную коробку, вытаскивает языком спичку, а сам дрожит. Затем подбирает губами с земли спичку и, держа ее зубами, чиркает головкой по черной грани коробки. Вспыхивает огонь. Василий Николаевич сует его под бересту, но предательский ветер гасит огонь. Снова вспыхивает спичка, вторая, третья... и все безуспешно.

– Проклятье! – цедит Мищенко сквозь обожженные губы и выпускает из рук спичечную коробку.

Первым сдается Николай. Подойдя к нартам, он пытается, видимо, достать постель, но не может развязать веревку, топчется на месте, шепчет, как помешанный, невнятные слова и медленно опускается на снег. Его тело сжимается в комочек, руки по локоть прячутся между скрюченными ногами, голова уходит глубоко в дошку. Он ворочается, как бы стараясь поудобнее устроить свое последнее ложе. Ветер бросает на него хлопья холодного снега, сглаживает рубцы одежды. Еще минута – и его прикроет сугроб.

– Встань, Николай, пропадешь! – кричит властным голосом Геннадий, пытаясь поднять его.

Мы бросаемся на помощь, но Николай отказывается встать. Его ноги беспомощны, как корни сгнившего дерева. Руки ослабли, по открытому и обмороженному лицу хлещет ветер.

– Пустите... мне холодно... бу-ми<sup>6</sup>... – шепчет он.

Силы покидают и нас, но мы пытаемся усадить его на нарты.

Афанасий, с трудом удерживая заочневшими руками топор, подходит к упряжному оленю. Пинком ноги он заставляет животное повернуть к нему голову. Удар обуха приходится по затылку. Олень падает. Эвенк носком топора вспарывает ему живот и, припав к окровавленной туше, запускает замерзшие руки глубоко в брюшную полость. Лицо Афанасия вскоре оживает, теплеют глаза, обветренные губы шевелятся.

– Хо... Хорошо, идите, грейте руки, потом огонь сделаем, – кричит эвенк, прижимаясь лицом к упругой шерсти животного.

А пурга не унимается. Частые раскаты обвалов потрясают стены ущелья. Афанасию удается зажечь спичку. Вспыхивает береста, и огонь длинным языком скользит по сушняку. Вздогнула сгустившаяся над нами темнота. Задрожали отброшенные светом тени деревьев. Огонь, разгораясь, с треском обнимает горячим пламенем дрова...

Какое счастье огонь! Только не торопись! Берегись его прикосновения, если тело замерзло и кровь плохо пульсирует. Огонь жестоко наказывает тех, кто не умеет пользоваться им. Мы это знаем и не решаемся протянуть к нему скованные стужей руки, держимся поодаль. В такие минуты достаточно глотнуть теплого воздуха, чтобы к человеку вернулась способность сопротивляться. К костру на четвереньках подползает Николай и бессознательно лезет в огонь. Его вдруг взмокшие скулы зарумянились, зашевелились собранные в кулаки пальцы.

Василий Николаевич и Геннадий стаскивают с Николая унты, растирают снегом ноги, руки, лицо. Потом поднимают его и заставляют бегать вокруг костра. Афанасий ревет зверем, у него зашлись пальцы.

А костер, взбудораженный ветром, хлещет пламенем по темноте.

Только через час нам удастся организовать привал: поставить палатку, наколоть дров, затопить печь. Собаки Бойка и Кучум, хотя и привыкли к холоду, на этот раз не выдержали и попросились на ночь к нам. Мы долго не можем прийти в себя. Острой болью стучит пульс в ознобленных местах, кисти рук пухнут, болит спина. Тепло все еще вызывает страшную боль. Лицо, руки у всех обморожены. У Николая на ступнях вздулись белые пузыри. Сон наваливается непосильной тяжестью. Ложимся без ужина. В последние минуты я думаю о Трофиме и его товарищах. Трудно поверить, что, заблудившись в этих горах, да еще без палатки, можно было спастись от такой беспощадной стужи. Неужели непогода надолго задержит нас под перевалом?

В пургу спишь чутко. Тело отдыхает, а слух сторожит, глаза закрыты, но будто видят. Тихо зевнул Кучум, и я проснулся, расшевелил в печке угли, подбросил щепок, дров. Мутным рассветом заползает к нам утро. В горах бушует ветер, трещит, горбатятся, лес, с настывших скал осыпаются камни.

---

<sup>6</sup> Бу-ми – пропадаю (эвенк.).

В палатке снова накапливается тепло. Все встают. Закипает чайник, пахнет пригоревшим хлебом.

– С другой стороны от перевала близко, да ни одна палка для костра нету, только камень там, в пургу сразу пропадешь, – говорит Афанасий, наливая в чашку горячий чай.

– Пурга здесь часто бывает? – спрашиваю я.

– Хо... Когда человек сюда приходит, Джугджур шибко сердится. – Афанасий оставляет чай, калачом складывает босые ноги и достает кисет. Долго набивает трубку табаком.

– Старики так говорят: тогда близко море люди не жили, и никто не знал про него, пришел аргишем к горам охотник. Долго он ходил, искал перевал, но нигде не нашел проход, все кругом скалы, камень, стланик. Однако, это край земли, нечего тут делать, вернусь в тайгу, думал он, и стал выючить оленей.

– Зачем охотник приходил сюда? – вдруг слышит он голос.

– Хо... Ты кто такой, что спрашиваешь?

– Я Джугджур.

– Не понимаю, лучше скажи, что ты тут делаешь?

– Море караюлю, ветру дорогу перегораживаю.

– А я куту<sup>7</sup> ищу – густую тайгу, зверя, рыбу. Но не знаю где найду.

– Я покажу, – сказал Джугджур, – а за это ты направишь ветер на восход солнца, видишь, он сделал меня голым.

– Хорошо, – сказал охотник. Андиган<sup>8</sup> дал Джугджуру.

Вдруг впереди перевал образовался, за ним глаз видит большое море и дорогу к нему. Повернул охотник оленей и пошел к морю. Чум поставил на берегу, рыбу ловил жирную, птицу стрелял разную, много-много добывал морского зверя. Куту нашел охотник, а про андиган совсем забыл. Вот и мстит Джугджур человеку за обман, не хочет за перевал пускать, пургу на людей посылает. Слышишь, как сердится?...

Медленно тянутся скучные дни и ночи. Мы безвыходно находимся в палатке. Я стараюсь гнать от себя мрачные мысли о затерявшихся людях: после такой пурги мало надежды разыскать их в живых. А над Джугджуром гуляет ветер. Снежный смерч властвует над ущельем.

На третий день после полудня Бойка и Кучум оживились, стали потягиваться, зевать. У Афанасия развязался язык.

– Собака погоду слышит. Его нос маленький, а хватает далеко. Надо идти олень смотреть. Где копанину<sup>9</sup> найдем, не знаю.

Одевшись потеплее, они с Василием Николаевичем вышли из палатки и вернулись с хорошими вестями.

– За горами небо видно, скоро пурга кончится.

В полночь действительно ветер стих. После непродолжительного снегопада унесли куда-то и тучи. Все успокоилось и, казалось, погрузилось в длительный сон. Только изредка доносились до слуха скрипучие шаги оленей да иногда потрескивали старые лиственницы, как бы выпрямляясь после бури.

Не дождавшись утра, забарабанил голодный дятел. Угораздило его начать день у нашего жилья – всех разбудил! Когда же я вышел из палатки, за скалистыми вершинами разгоралась заря. На реке весело перекликались куропатки. Напятнала по свежей перенове<sup>10</sup> белка, настроили мелкими стежками мыши. А здесь недавно пробежал, горбя спину, соболь. Лиса навалила пятаков возле зарезанного оленя. Под скалою пересвистывались рябчики. Наголодавшиеся за

---

<sup>7</sup> Куту – счастье (эвенк.).

<sup>8</sup> Андиган – клятва (эвенк.).

<sup>9</sup> Копанина – место кормежки оленей зимою, где олень копытом разрывает снег и выедает ягель.

<sup>10</sup> Перенова – только что выпавший снег.

три дня обитатели тайги чуть свет на кормежке. Каким чудовищным испытаниям подвергается их жизнь в этих холодных и неприветливых горах!

Пока готовили завтрак, проводники пригнали оленей. Через час мы покинули спасшую нас стоянку.

После пурги Джугджурский хребет сиял белизной только что выпавшего снега. Он был величественным и по-прежнему суровым. Кругом тишина. Улеглись обвалы. На дне ущелья не всколыхнутся заиндевевшие деревья. Кажется, стужа сковала даже звуки.

Поднимались мы быстро. Брошенные на подъеме нарты оказались занесенными снегом. Пока их откапывали и приводили в порядок упряжь, я ушел вперед.

На перевале задержался. Позади лежало глубокое ущелье, обставленное с боков исполинскими скалами. А дальше и ниже, в узкой рамке заснеженных гор, виднелась темная тайга, покрывающая дно Алдоминской долины.

На юго-запад от перевала открывалась неширокая панорама удивительно однообразных горных вершин – пологих, пустынных. Только слева из-за ближнего откоса седловины виднелись мощные нагромождения черных скал главного Джугджурского хребта. Там и Алгычанский пик.

На перевале я увидел небольшое сооружение, сложенное из камней. Это была урна. Четыре плиты, установленные на широком постаменте, служили чашей. Чего только не было в этой чаше? Пуговицы, куски ремней, гвозди, спички, металлические безделушки, цветные лоскутки, гильзы, кости птиц, стланиковые шишки и много всякой мелочи.

Пока я рассматривал содержание чаши, подошел обоз. Возле урны караван остановили. Афанасий сорвал с головы несколько волосков и бросил их в чашу. Николай достал из кармана с десяток малокалиберных патрончиков и, выбрав из них один, тоже опустил в чашу.

– Для чего это? – спросил его Василий Николаевич.

– Так с давних пор заведено. Каждый человек, который идет через перевал и хочет вернуться обратно, должен что-нибудь положить, иначе Джугджур назад не пропустит.

– Ты хитер, парень! Почему же положил негодный патрончик с осечкой?

Николай добродушно рассмеялся.

– Джугджур не видит, немножечко обмануть можно, – ответил он, доставая из ниши, сделанной в постаменте, ржавую железную коробку.

– Тут много всяких писем. Кто, куда, зачем ходил, кого обидел Джугджур – все написано.

Коробка была старинного образца, из-под чая, наполненная доверху разными бумажками.

Я развернул одну из самых пожелтевших. Она была исписана неразборчивым детским почерком и читалась с трудом. «Джугджур, зачем угнал наших оленей, теперь мы должны вернуться домой пешком, сами тащить нарты, может, в школу скоро не попадем. Сыновья Егора Колесова». В другой записке было написано: «Не годится, Джугджур, так делать, ты десять дней не пускал нас через перевал, холод посылал на нас, и мы выпили много спирта, который везли Рыбкоопу. Как рассчитываться будем? Нехорошо!» Под текстом было четыре неразборчивые подписи. Датировано 1939 годом.

Среди многочисленных записок я увидел знакомую бумагу, которой пользуются геодезисты для вычислительных целей, и был удивлен. Это оказалась записка наших товарищей, работавших в прошлом году на Джугджурском хребте. «Перестань душить, Джугджур! Взгляни на свою недоступную вершину, на ней мы выложили каменный тур<sup>11</sup>. Ты побежден! Васюткин, Зуев, Харченко, Евтушенко».

---

<sup>11</sup> Тур – бетонный четырехгранный столб метровой высоты с чугунной маркой в центре верхней горизонтальной плоскости, выливается на вершинах гор и служит для установки геодезических инструментов. Над туром обычно сооружается деревянная четырехугольная пирамида шестиметровой высоты с цилиндром наверху. Цилиндр служит визирной целью при наблюдениях.

Пока мы читали записки, Николай достал из другой ниши круглую банку, в которую проезжие складывали монеты. Он высыпал их себе на полу дохи и, присев на снег, стал считать.

– Двадцать... сорок... пять... рубль...

К нему подошел Афанасий, лукавым взглядом стал следить за счетом. А Николай сиял. Шутка ли, горсть денег! Он высыпал обратно в банку щербатые и потертые монеты, остальные сложил в ладонь и потряс ими в воздухе.

– Спасибо, Джугджур! На пол-литру есть! Дай бог тебе еще сто лет прожить!

Видимо, издавна стоит эта урна, храня легендарную историю Джугджурского хребта. Кто ее установил, кто вынес сюда плиты?

Афанасий, будто угадав мои мысли, стал рассказывать.

– У того охотника, который первый кочевал к морю, родились сын и дочь, – так рассказывают наши старики. Когда сын вырос, отец навьючил много добра – тэри<sup>12</sup>, и послал сына за хребет в тайгу жену себе искать. Дорогу рассказал ему правильно, но сын не вернулся. Однако, беда случилась. Решил отец и послал на розыски дочь. Много ездила она, долго искала, пока не попала на перевал. Видит, кости оленей лежат, пропавший тэри, от брата никаких следов. Стала звать, много ходила по горам, плакала. Вдруг слышит голос Джугджура:

– Суликичан, – так звали ее, – не ищи брата. Человек обещал направить ветер на восход солнца и обманул меня, за это я превратил его сына в скалу. Видишь, она стоит всегда в тумане, выше и чернее остальных.

Взглянула Суликичан и узнала брата.

– Джугджур, – сказала она, – верни брата в его чум. Что хочешь возьми за это.

Джугджур молчал, все думал, потом сказал:

– Хорошо. Сделай из тяжелых камней чашу, положи в нее самое дорогое, и пусть все люди, которые идут через перевал, кладут часть своего богатства. Когда чаша наполнится, я верну человеку его сына.

Согласилась Суликичан, вынесла на перевал тяжелые камни, сложила чашу и бросила в нее самое дорогое – свою косу. С тех пор каждый охотник, который идет через перевал к морю и обратно, что-нибудь кладет в чашу. Однако до сих пор не удалось ее наполнить. Ждет Джугджур, сердится, а Алгычан все спит.

– Как ты сказал, Афанасий? Алгычан? – переспросил его Василий Николаевич.

– Да. Идите все сюда. – И старик повел нас на склон седловины. – Видите большую скалу? Смотрите хорошо. У нее есть лоб, нос, губы. Это Алгычан, сын охотника. Джугджур сделал его скалой.

– Да ведь мы же идем к Алгычану! – сказал я.

– Хо... Как люди могли ходить наверх, гора шибко крутой, – удивился Афанасий.

Не задерживаясь больше, мы спустились к оленям и тронулись в дальнейший путь.

На дне перевальной седловины находится большое озеро продолговатой формы. Возле него ни единого деревца, ни кустика. Только груды россыпей, сползающих с крутых гольцов.

Миновав седловину, караван свернул влево. Ехали без дороги. Наш путь вился крутыми зигзагами по отрогам. То мы взбирались на плоскогорья, то спускались на дно безжизненных ущелий и все ближе подбирались к Алгычану.

У последнего спуска задержались. Я достал бинокль. Перед нами возвышался Алгычанский пик. Природа постаралась придать этому гольцу грозный вид. Он представлял собою нагромождение колючих скал, собранных на одну вершину. На его крутых откосах ни россыпей, ни снега. Были видны только следы недавних обвалов да у подножья обломки каких-то руин, которые делали подход к пику недоступным. Голец издали действительно напоминал мертвого великана.

---

<sup>12</sup> Тэри – калым (эвенк.).

– А где же пирамида? – спросил, обращаясь ко мне, Василий Николаевич. – Виноградов, кажется, сообщал, что она была построена.

– Пирамиды нет, но тур стоит, – ответил я, рассматривая в бинокль вершину Алгычанского пика. – В самом деле, куда же девалась пирамида?

У кромки леса люди задержались с оленями, чтобы заготовить дров, а я ушел вперед.

Палатка наших товарищей стояла у подножья гольца. Она была погребена под снегом, и если бы не шест, установленный Виноградовым при посещении гольца, трудно было бы отыскать ее среди многочисленных снежных бугров. Я с трудом прорыл проход и влез внутрь. Палатка сохранила жилой вид, всюду были разбросаны вещи, которыми, казалось, только что пользовались, в кастрюле было даже нарезано мясо для супа. Все это подтверждало вывод Виноградова, что люди ушли ненадолго и какое-то несчастье не позволило им вернуться в свой лагерь.

Когда пришел обоз, на вершинах гор уже лежал пурпурный отблеск вечерней зари. Медленно надвигалась ночь, окутывая прозрачными сумерками ущелье. Мы с проводниками взялись за устройство лагеря, а Василий Николаевич с Геннадием решили полностью откопать палатку Королева. Когда ужин сварился, я пошел за ними.

– Кажется, мы напали на след, – сказал Василий Николаевич. – Тут вот под снегом веревки нашли, кайла, гвозди, цемент, к тому же и вся посуда здесь, даже ложки. Думаю, они работу закончили, спустили сюда часть груза с гольца и пошли за остальным.

– Тогда куда же девалась пирамида? – спросил я.

Он в недоумении пожал плечами.

– Не знаю, но искать их надо только на подъеме к пику. Место тут узкое, никуда не свернешь, да и заблудиться негде.

Длинной показалась ночь у Алгычана. В палатке тепло. Тихо кипела вода в чайнике. Из темноты доносились сонные звуки и шорох случайного ветра.

– Слышите, гром, что ли? – сказал вдруг Василий Николаевич, приподнявшись.

До слуха долетел отдаленный взрыв, на вершине что-то откололось и, дробясь о шероховатую поверхность гольца, покатилося вниз.

– Обвал... – прошептал Геннадий.

Мы вышли из палатки. Казалось, лопались скалы, рушились утесы и сползали с вершины потоки камней. Можно было поверить, что проснулся легендарный Алгычан и сбрасывает с себя гранитные оковы.

Через несколько минут гул стих. Но где-то еще скатывались одинокие глыбы, сотрясая ударами скалы.

– Скорее всего наши погибли под обвалом... – вздохнул Василий Николаевич, взглянув на меня.

Он подтвердил мои мысли. Так же думал и Геннадий.

Время подкрадывалось к полуночи. В печке потрескивали гаснущие угли. Палатку сторожил холод. Василий Николаевич лежал на шкуре с закрытыми глазами, плотно сжав губы. В его руке не угасала трубка. Геннадий, забившись в угол, сидел, ссутуля спину, над кружкой давно уже остывшего чая. Что-то нужно сказать, отвлечь всех от мрачных мыслей. Но язык будто онемел, слова вылетели из памяти. А от тишины еще тяжелее на душе...

## **V. Поиски затерявшихся людей. – Догадка проводников. – Встреча с обреченными. – Снова вместе. – Возвращение в бухту. – Расставание с Королевым**

Прежде всего нужно было обследовать подножье Алгычана. Василий Николаевич идет влево от нашей стоянки, намереваясь проникнуть в наиболее недоступную северную часть

гольца, где скалы отвесными стенами поднимаются к главной вершине. Там, вероятно, скопилось много лавинного снега, в нем, быть может, ему удастся обнаружить обломки упавшей с пика пирамиды. Я иду вправо. Хочу по гребню подняться как можно выше и обследовать цирки, врезающиеся в голец к юго-западной стороне. В лагере останется Геннадий. Он установит рацию. Нас давно ищут в эфире и, конечно, беспокоятся.

В котомку кладу бинокль, теплое белье, меховые чулки, свиток бересты для разжигания костра и дневной запас продуктов для себя и Кучума. Кобель, заметив сборы, волнуется и, видимо, от радости несдержанно визжит.

От лагеря я сразу стал подниматься на гребень. Хорошо, что у меня лыжи подшиты сохатыным камусом, они легко скользят по затвердевшему снегу и совершенно не сдают даже на очень крутом подъеме. Кучум идет на длинном поводке. Он горячится, рвется вперед и почти выносит меня на первый взлобок.

Достаю бинокль и внимательно рассматриваю склоны гор, но нигде не видно ни следа, ни каких-либо иных признаков присутствия людей.

Иду дальше. Гребень покрыт густой щетиной торчащих из-под снега острых камней. Впереди громоздятся высокие террасы склонов Алгычана. Всюду россыпи, местами лежат глыбы упавших скал. Подбираюсь к каменным столбам, торчащим, словно истуканы, по краю гребня, и, не найдя там прохода, останавливаюсь.

Справа подо мной небольшой цирк с миниатюрным озерком у самого края. Стенки цирка не очень крутые, и их снежная поверхность исчерчена постоянно скатывающимися камнями. За противоположной стеною, судя по рельефу, должно быть обширное углубление, но мне его не видно.

Кучум, усевшись возле меня, смотрит куда-то в пространство и длинными глотками втягивает воздух. Видимо, что-то доносит еле уловимый ветерок, изредка налетающий снизу. Я просматриваю склоны Алгычана. Солнечный свет широким потоком ворвался в цирк. На снежной поверхности обозначились морщинки, бугры, рубцы передувов, и совершенно неожиданно среди них я увидел следы. Они вошли в цирк снизу, обогнули озерко и исчезли неровной стезей за соседним гребнем. «Кто мог бродить здесь?» – подумал я, надеясь открыть причины загадочного исчезновения людей.

Нужно было спуститься к следу, но как? По стенке цирка – круто, к тому же снег там заледеневший, местами торчат острые камни. На лыжах – опасно. Лучше вернуться назад и пойти в цирк снизу. Пока я размышлял, Кучум вдруг заволновался, выпрямился и, бросив беспокойный взгляд на соседний гребень, замер. Хотя человек и обладает зрением лучшим, чем у собаки, все же я ничего там не заметил. Но Кучум взбудоражен, он громко втягивает в себя воздух и, наконец, бросается в сторону гряды. С трудом сдерживаю разгорячившегося кобеля. Тот упорствует, запускает глубоко в снег когти и делает отчаянную попытку сорваться с поводка.

Мне тоже хочется скорее попасть на соседний гребень и заглянуть в скрытую за ним чащину. Может быть, собака улавливает присутствие людей или дым?

Я пытаюсь преодолеть упрямство Кучума, но тот продолжает рваться вперед. Он здоровый, сильный, и мне на лыжах нелегко справиться с ним. Единственный выход – рискнуть спуститься по стенке на дно цирка. Связываю лыжи и пускаю их вниз. Они, скользя, несутся по снежному откосу, то взлетая, то прячась, наконец скрываются где-то в глубине.

Теперь наш с Кучумом черед. Как же затормозить бег, чтобы не разбиться на этой стене? Вспомнилось детство и ледянка, на которой часто катался с гор. Снимаю телогрейку, усаживаюсь на нее, пропустив рукав между ног, и отталкиваюсь. Вначале Кучум бежит впереди, но скорость нарастает. Собака уже не поспевает за мною, падает, летит кувырком. Я работаю руками и ногами, удерживаю равновесие. Спускаемся с невероятной быстротой. Снизу, сквозь телогрейку, начинает холодить. Но вот и дно цирка. Мы делаем небольшой прыжок и останавливаемся.

ливаемся. Кучум встряхивает шубой и садится, а я смеюсь: от телогрейки остались рукава да ворот, на брюках – большая дыра. Холод щиплет обнаженное тело. Хорошо, что в шапке всегда имеется иголка с ниткой. Накладываю латку на брюки, идем дальше.

Пересекаем чашу и поднимаемся на гребень. Кобель торопится. Над нами яркое солнце. Воздух потеплел. Ни одной птицы не видно, и ничто не напоминает о близости живых существ. Только шорох лыж да тяжелое дыхание собаки нарушают покой гор.

Едва мы преодолели подъем, как Кучум снова взбудоражился.

Спускаюсь ниже. До слуха вдруг доносится стук камней. Кто-то удаляется от нас косогором. Собака вытягивается в струнку, готовая броситься на звук. Вот что-то мелькнуло, из-за крутизны вырывается стадо снежных баранов и на наших глазах уходит влево, к скалам. Я приседаю. Кучум не шевелится, следит, как они прыгают с камня на камень. Затем, оглянувшись, смотрит на меня, как бы спрашивая, почему я не стреляю. А бараны, отбежав метров двести, вдруг остановились и, повернув головы в нашу сторону, замерли.

Их семь. Все рогачи, толстые, длинные, на низких ногах. На фоне серых камней они кажутся почти белыми. Мгновение – и животные пугливо бросаются дальше. До слуха снова долетает стук камней. Через сто метров бараны опять останавливаются, потом бегут дальше и так, небольшими рывками с остановками, они уходят от нас. Добравшись до скал, звери вытягиваются в одну линию, скачут с карниза на карниз, по уступам и, забираясь все выше и выше, исчезают в щелях.

«Вот они, красавцы, обитатели бесплодных гор», – думаю я, еще долго находясь под впечатлением неожиданной встречи. Какая поразительная способность передвигаться по шероховатой поверхности почти отвесных скал! Я смотрю на нависшие серые громады, и не верится, что по ним только что пробежало стадо снежных баранов.

Продолжая поиски, я внимательно осматриваю дно цирка, склоны хребта, хорошо видимые с того места, где мы стоим. Нигде никаких признаков людей.

И снова, в который раз, я задаю себе один и тот же вопрос: «Куда девались наши люди?»

Обследовав дно впадины и соседнюю долину, собирающую ручейки с юго-западных склонов Алгычана, я ни с чем вернулся в лагерь. Василия Николаевича еще не было. Меня встретил Геннадий.

– Сколько беспокойства наделала пурга! Трое суток все наши станции дежурят, ищут нас, а мы только сегодня вылезли в эфир, – говорит Геннадий.

– Что нового?

– Ничего. Все ждут от нас сообщения.

– Сообщить-то пока нечего...

Василий Николаевич вернулся поздно вечером, усталый и тоже без результатов.

– Ну и пропасть же с той стороны гольца! А какие высокие скалы! Разве там что найдешь, все завалено снегом и камнями...

Так мы и уснули, почти потеряв надежду разыскать своих товарищей. На следующий день решили обследовать единственный проход к пику, взобраться на вершину и выяснить, куда же исчезла пирамида. А проводники переключают ближе к лесу. Там, где мы стоим лагерем, очень крепкий снег, олени не могут копытить и уходят далеко вниз.

На этот раз идем все трое. День обещает быть хорошим. Восход солнца застает нас в пути.

От лагеря лощина сразу сужается и узкой бороздой въедается в гольц. Передвигаемся медленно, присматриваясь к волнистой поверхности снега. Но и тут не видно даже признаков недавнего пребывания людей, все глажено или запорошено выпавшим позавчера снегом.

За последним поворотом лощина неожиданно раздваивается, и мы видим гору грязного снега, смешанного с камнями, – это остатки обвала. Его следы лежат широкой полосой по ребристым террасам Алгычана. Но главная масса сдернутого снега и камней слетела в развилку лощины, часть даже перемахнула ее и наростом прилипла к противоположному откосу. Мы

молча стоим у застывшей лавины, которая, быть может, стала могильным курганом над близкими нам людьми. Потом тщательно осматриваем снежные глыбы, сжатые гармошкой, поднимаемся на верх обвала и, наконец, в щели находим рюкзак. В нем гвозди и веревка. Больше ничего нам не удается найти. Сомнений не осталось: товарищи погибли. Видимо, их захватила лавина.

– Там вон на скале вроде площадки... Надо бы тур выложить и имена высечь на камне, – говорит Василий Николаевич, кивнув головой в сторону левой скалы.

С минуту длится скорбное молчание.

Затем мы взбираемся на скалу и собираем плиты для могильного тура.

Вдруг снизу долетел выстрел. Нашим следом быстро поднимался человек, таща за собой какой-то груз.

– Никак Афанасий! – сказал Геннадий. – Не случилось ли еще какой беды?

Афанасий, заметив нас, остановился, снова выстрелил и стал махать руками, кричать.

– Люди там... Люди... – наконец разобрали мы.

– Где? Какие люди? Да говори, онемел, что ли? – кричал, в свою очередь, Василий Николаевич.

– На Алгычане, на самом верху...

Мы побежали вниз, падали, кувыркались.

– Я же говорил, не такие ребята, чтобы погибнуть! – кричал Геннадий.

Афанасий передохнул и стал рассказывать:

– Как только мы палатку поставили, Николай и говорит: «Смотри, однако, на Алгычане дым!» Я посмотрел – и верно, дым. Вот и побежал сюда. На таборе захватил ящик с продуктами, взял веревку, может, нужно будет.

– Не перед пургой ли курятся сопки? – перебил я его.

– Хо... Я что, дым не знаю? Говорю, люди живут на Алгычане. Надо идти туда, стрелять, пусть услышат. – И, перезарядив ружье, он выстрелил.

Сверху послышался протяжный гул. Меньше чем через минуту он повторился еще и еще.

Геннадий схватил за плечо Василия Николаевича.

– Слышишь, камни бросают, значит, верно живы...

Теперь, как никогда, нужно было торопиться к ним, к нашим попавшим в беду товарищам. Никакие препятствия или преграды не могли уже задержать нас.

Мы кинулись вверх. Какая крутизна! Нам бы ни за что не взобраться без специального снаряжения, если бы под ногами не было свежего, еще не заледеневшего снега. Над нами с двух сторон возвышались скалы, а выше виднелись утесы и глыбы разрушенных стен, чудом удерживающихся на склоне гольца. Там-то и зарождаются обвалы, потрясающие Алгычан и сдирающие с гольца зачатки растительной жизни.

День принес тепло. Василий Николаевич шел впереди, отмеряя крутизну мелкими шагами. За ним мы тянули на веревке лыжи с грузом.

– Доберемся вон до того выступа и отдохнем, – подбадривал Василий Николаевич.

Чем выше, тем чаще попадались затвердевшие передувы. Трудно стало выбирать ступени. Ноги скользили, рукам не за что ухватиться.

Наконец мы у выступа; но Василий Николаевич, забыв про обещанный отдых, продолжал карабкаться дальше, торопился, местами полз на животе, оставляя на снегу отпечатки вдавленных пальцев.

– Вон на плиту взберемся, там легче будет... А ну вперед...

Так, не отдыхая, забыв про усталость, мы лезли все выше и выше. До пика уже оставалось немного. Но путь неожиданно преградила совершенно отвесная стена снежного надува. Тут только мы догадались, что произошло с людьми на Алгычане.

Обвал, остатки которого лежали на дне лощины, зародился именно здесь. Он оставил отвесную стену надува и отрезал наших товарищей, находившихся на пике. Ни по снежной стене, ни по скалистым бортам щели, да и в других местах нельзя было спуститься. И они остались обреченными на смерть вдали от жилья, на гольце.

– У-у-гу... – закричал Геннадий.

Эхо оттолкнулось от ворчливых скал, скользнуло по откосам в ущелье и, не вернувшись, заглохло.

Через минуту вверху загрохотали камни. Затем донеслись ответные крики. Люди спустили нам камень с запиской, привязанной к тонкой, сплетенной из лоскутков трикотажного белья, веревочке.

«Кто вы? – писали они. – Мы геодезисты, нас пятеро, попали в беду, не можем спуститься. Сегодня догнали последние остатки пирамиды. Помогите, подайте веревку, мы седьмой день голодные, совсем обессилели, есть тяжело больной. Юшманов».

«Не волнуйтесь, – писал я. – Мы приехали разыскивать вас. Рады, что все живы. Вяжем лестницу, через час подадим конец, закрепите его, и мы поднимемся к вам».

Веревоочная лестница без палок оказалась очень неудобной для подъема, но все же нам удалось взобраться наверх. Четверо товарищей поджидали нас у края надува.

Какое странное зрелище я увидел! Предо мною стояли люди, полностью истощенные, со скуластыми лицами и до того черные, будто обугленные. Глаза у всех ввалились и потускнели, губы высохли. Худое и костлявое тело прикрывали лохмотья полусгоревшей одежды. Никого из них распознать было невозможно.

– На кого же вы, братцы, похожи! – кричал Василий Николаевич, загребая в свои объятия первого попавшегося и прижимая к губам закопченную голову.

Говорили все разом, каждый торопился излить свое чувство. К обреченным вернулась жизнь, и вершина Алгычана огласилась радостными человеческими голосами.

– А где же Трофим Николаевич? – спросил я, заметив сразу отсутствие Королева.

Все вдруг смолкли.

– Он плохой... Лежит. Думали, сегодняшней ночью умрет, – тихо ответил кто-то из товарищей.

Почему-то показалось, что у Трофима не хватит сил пережить радость, и, стараясь опередить время, я бегу по россыпи меж крупных камней, прилипших к крутому склону пика. Долго ишу жилье. Наверх выходят остальные.

– Вот и наша нора, – сказал Юшманов, показывая на отверстие в сугробе.

Я пролез на четвереньках внутрь. Узкий вход шел глубоко под скалу. Помещение было низкое, темное, изолированное от внешнего мира каменным сводом и двухметровым слоем заледеневшего снега. Через маленькую дыру в своде просачивался слабый свет. Дыра, видимо, служила и дымоходом. Вскоре глаза привыкли к темноте.

В углу на каменной плите, высланной мхом, лежал Трофим. Его ноги были завернуты в лохмотья, шея перехвачена ватным лоскутом, на голове шапка. Скрюченное тело как бы прижалось к маленькому огоньку, поддерживаемому лучинками. Он приподнялся на локти, хотел что-то сказать, но хриплый кашель заглушил голос.

– Я узнал вас по шагам, только вы что-то долго поднимались. Думал, не дождусь...

Трофим протянул мне костлявые руки, обтянутые черной морщинистой кожей. Сухими губами он беззвучно хватал воздух. В широко открытых глазах сомнение: он все еще не верил в наш приход.

– Ты успокойся, мы сейчас унесем тебя отсюда, и все будет хорошо.

Его раздвоенный подбородок судорожно задрожал от беззвучных рыданий. Я прижал Трофима к себе и почувствовал, как его горячая слеза прокатилась по моей щеке.

В нору влез Василий Николаевич.

– Сядьте ко мне ближе, согрейте немножко, у меня все заледенело... Хорошо, что поспели, думал, не увидимся... – И Трофим в изнеможении опустил на холодную плиту.

Василий Николаевич стащил с него обгоревшие лохмотья и надел свою телогрейку. Я подбросил в огонь пучок лучинок, Геннадий и Афанасий принесли продукты. Но Трофим отказался есть. Огнем горело его тело, было слышно, как хрипит у него в легких.

– Пока работали – тепло стояло, бетон в туре хорошо схватился, заканчивали постройку. А оно не тут-то было, случись обвал да захвати нас на пике, когда тут, наверху, не осталось ни веревки, ни топора, ни палатки... – рассказывал он тихо, часто смачивая языком высохшие губы. – Бросились к надуву, но где же там спуститься – отвесная стена. А снег твердый как камень, голыми руками не взять. В одном месте увидели старые следы диких баранов. Обрадовались. Ничего не оставалось, как рискнуть спуститься их следом, думали, все одно погибать... Ведь ни одежки на нас, ни куска хлеба, а помощи ждать неоткуда! Разобрали пирамиду, спустили одно бревно к карнизу, где прошли бараны, по бревну спустился туда я. А дальше – пропасть. Звери прошли по выступу, им привычно... А нам нечего и думать. Стал подниматься с карниза – и не могу. Не то оробел, или уж очень скользким было бревно... Часа два мучились ребята. Пришлось снять с себя белье, привязаться к бревну, только так и вытащили меня. А пока стоял на карнизе, – место там продувное, холодное, – меня и прошло ветром.

Хриплый грудной кашель то и дело прерывал его рассказ. Трофим стонал от боли, поворачивался лицом к стене и подолгу тряся от непрерывного кашля. Мы укрыли его потеплее своей одеждой.

– Что-то надо было делать. Не хотелось сдаваться сложа руки, хотя и не на что было надеяться, – продолжал свой рассказ Трофим все так же медленно и спокойно. – Стали убежище ладить, решили закопаться поглубже в россыпь, под обломки, тут все же затишье, не так берет холод. Работали всю ночь, ребята не растерялись, молодцы, к утру закончили. Лес с пирамиды изломали и камнями раскрошили на лучинки. Развели огонек, и ребята уснули. Меня жаром охватило, как-то нехорошо стало. А наверху ветер разыгрался. Чувствую, дует из угла, где-то щель осталась. Вылез и пока забивал снегом дыры, ослаб, земля из-под ног выскользнула, перед глазами, показалось, не снег, а сажа. Упал, но все же как-то добрался сюда и вот с тех пор не встаю... Страшной кажется смерть, когда о ней долго думаешь и когда она не берет тебя, а только дразнит. Ребята сжевали все, что подильно было зубам. Ели ягель, обманывали желудок. Огонь берегли, спали вповалку друг на друге, чего только не передумали. Обидно было, что пропадаем без пользы, глупо. – Трофим вдруг стал задыхаться. – Тяжело дышать, колет... в груди колет. Неужели конец?

– Ты что, Трофим, одумайся, с чего это ты помирать собрался?! Выпей-ка горячего чая, погрей нутро, легче будет. Я сухарик размочил, пей, – хлопотал возле больного Василий Николаевич.

Трофим приподнялся, взял чашку. Но руки тряслись, чай проливался. Пришлось поить его.

– Хорошо, спасибо, только сухарь, как хина... И от чая совсем ослаб. Видно, не жить, – сказал, сжимая холодными руками грудь.

Его губы дрожали, в глазах боль. Он продолжал говорить тем же тихим голосом.

– Если конец, скажите друзьям спасибо... Часто вижу Нину. Стоит она возле меня в сереньком латаном платьице, босая, загорелая, какую я полюбил когда-то... Душно мне, отвалите камни, дайте воздуха...

Через полчаса мы одели Трофима и помогли выбраться из норы.

Горы были политы светом щедрого солнца, уже миновавшего полдень. Из-за прибрежного хребта краешком улыбалось нам светлое облачко.

Трофим попросил вынести его на пик. Это было всего полсотни метров. Опираясь на тур, он долго всматривался в синеющую даль необозримого пространства. О чем он думал? О том

ли, что эти горбатые хребты, кручи, долины вскоре лягут на карту, что побегут по ней голубые стежки рек, ручейков, зелеными пятнами обозначится тайга. Только никому не прочесть на ней того, что перенес тут с товарищами он, Трофим Королев, во имя этой карты.

Вниз, к стоянке, спустились быстро. В палатке тепло. Василий Николаевич вскипятил воду. Мы обмыли Трофима Николаевича и уложили в спальный мешок. После всего пережитого он впал в забытие, метался в жару, бредил и непрерывно вздрагивал от затаенного кашля.

Геннадий настойчиво стучал ключом, вызывая свои станции, хотя до назначенного времени оставалось более двух часов. Его упорство закончилось удачей, и в эфир полетела радиogramма:

«Все затерявшиеся живы, находимся лагере под Алгычаном. Королев тяжелом состоянии, срочно вызовите к аппарату врача, нужна консультация, оказание помощи больному».

Остальные из пострадавших нуждались лишь в нормальном питании. Почувствовав тепло и присутствие близких им людей, они понемногу стали приходить в себя.

Врачи по признакам болезни определили у Трофима Николаевича воспаление легких. Болезнь протекала тяжело. Больной лишь изредка, и то ненадолго, приходил в себя.

Через несколько дней мы снова вынесли на голец строительный лес и воздвигли на пику пирамиду. Стоит она и сейчас на зубчатой громаде Джугджурского хребта, как символ победы советского человека.

Болезнь Трофима Николаевича очень тревожила нас. У него не прекращались кашель и одышка. Температура упорно держалась выше тридцати девяти градусов. Утром и вечером у аппарата появлялся врач и давал советы по уходу за больным, хотя наш лагерь и находился за тысячу с лишним километров от штаба.

Четырнадцатого марта мы тронулись в обратный путь к бухте. Теперь дорога нам была знакома, а дни стояли солнечные, теплые. Для Трофима Николаевича были сделаны специальные нарты с капюшоном, на которых он мог лежать. Упряжку всю дорогу вел Василий Николаевич. На крутых спусках и в опасных местах оленей выпрягали и нарты тащили вручную.

В бухту пришли на третий день. Трофима Николаевича положили в больницу. У него действительно оказалось воспаление легких. Хотя теперь он находился под непосредственным наблюдением врачей и в хорошей обстановке, жизнь его все еще была в опасности. Ожидался кризис.

В день приезда я посетил председателя райисполкома и вернулся в лагерь поздно. Все спали, кроме Василия Николаевича.

– Ты куда собрался? – спросил я, увидев приготовленные для похода рюкзаки и лыжи.

– Прошлый раз вы же обещали: как вернемся с Алгычана, пойдем море смотреть. Столько было разговоров... А тут, пожалуйста, остановились в таком месте, что даже морем не пахнет. Геннадий говорит, самолет за нами придет послезавтра, значит, можем пойти всего на один день. Каждый час дорог. Вот я и тороплюсь. На рассвете мы должны быть за хребтом! – заявил он.

– Не сейчас ли думаешь идти?

– Неужто утра дожидаться? Да вы взгляните, ночь-то какая светлая! – ответил он, отбрасывая борт палатки, но, увидев темноту, поправился: – Не слепые же, доберемся до места, там и переждем.

– Успеем, Василий, и выспаться и к морю попасть, – ответил я.

Но уснуть так и не удалось. Василий Николаевич всю ночь возился, гремел посудой, а под утро так накалил печь, что в палатке стало невыносимо жарко. Пришлось подниматься.

Нартовая дорога, по которой мы идем, ведет нас от бухты на север. Через три километра она врывается в лес, переваливает хребет и крутой щелью спускается к морю.

Начинает светать. Мы идем берегом, направляясь к мысу Лыготному. Он уже чуть-чуть вырисовывается сквозь пордевший мрак. Под ногами шумит разноцветная галька – мелкая,

плоская, пересыпанная перламутровыми ракушками. Как много этих ракушек на берегу! Тут и двухстворчатые, и чашеобразные, и спиральные. Вместе с ними море выбрасывает на берег много ценнейших водорослей, откладывая их длинными валами или небрежно расстилая по гальке. Больше всего здесь морской капусты – длинных коричневато-зеленых ремней, много стеблевидных фукусов, морского салата и других растений. Трудно смириться с мыслью, что эти ценные дары моря пропадают. Ими никто пока не интересуется, кроме разве бурого медведя, большого охотника до морской капусты.

Слева от нас уходят в безграничное пространство шероховатые поля льдов. Начинается прилив. Море медленно надвигается на материк, и в этом закономерном движении чувствуется спокойствие. Пахнет йодом и морской травой, и прохладный воздух кажется особенно свежим. Вода до того прозрачна, что сквозь нее видно все, что есть на дне.

Вдруг до слуха долетает протяжный звук, напоминающий стон. Мы останавливаемся. Он повторяется далеко возле мыса, позади и снова впереди нас. Море пробуждается, а звуки усиливаются и скоро превращаются в сплошной рев. Это кричат птицы. Огромные стаи чаек лениво летят на север. На маленьких льдинах важно восседают бакланы. По разводьям – бесчисленные табуны уток. Это самые беспокойные из водоплавающих. Тут и драки, и писк, и возня. Птиц, как говорится, видимо-невидимо. Сколько радости в этом неумолкающем птичьем гомоне!

К краю гальки пристыл припай – намерзшая за зиму полоска берегового льда. Справа над припаем высятся исполинские скалы. Они, казалось, угрожают завалить море. Нужно иметь всего лишь капельку воображения, чтобы увидеть в очертании этих скал то полуразрушенные бастионы, крепости, то часовых, оберегающих рубеж материка, то гигантские колонны, украшающие вход в пещеры.

По бровке скал темной каймой виднеется лес. Растет здесь преимущественно лиственница. Но издали ее ни за что не узнать, такая она жалкая! Крайние ряды деревьев, что ближе к морю, маленькие, уродливые. Их густые и изувеченные кроны переплелись между собою непролазной стеною, будто понимают, что только сообща, обнявшись, можно противостоять силе ветра и стужи. Верхние ветви этих деревьев словно подстрижены постоянной струей ледяного ветра. Ни одна веточка не смеет высунуться выше установленной границы: она погибнет.

Есть там и одинокие деревья. Это те же лиственницы. Их корни спрятаны под утесом в щелях скал или в россыпях, а стволы выбрались на уступы и не растут вверх, а лежат, как осьминоги, присосавшись к шероховатой поверхности горизонтальных скал. В таком положении они селятся даже на совершенно открытых карнизах, постоянно продуваемых ветрами, но только там, где между скалами и холодной струей воздуха существует какое-то жизнеспособное пространство, хотя бы с полметра.

За защитной полосой низкорослых и горбатых лиственниц виднеются темные ели. Они тоже растут сообща и, кажется, больше в корень, чем в высоту.

Тяжелую борьбу ведут деревья за право жить на этом морском берегу! И все же радостно смотреть на этих пионеров растительного мира, дерзнувших отвоевать, подчинить себе суровые склоны береговой полосы Охотского моря.

– Что это там, впереди? Видите? – говорит Василий Николаевич, показывая на бесформенный предмет, одиноко торчащий на берегу.

Мы подходим ближе. Это носовая часть небольшого грузового судна. Измочаленные шпангоуты, оборванная якорная цепь и вбитые в стенки судна угловатые осколки скал свидетельствуют об упорной борьбе, которую выдержало судно, прежде чем развалиться. Что случилось с людьми, где груз, машины? Разве у моря узнаешь его тайны?

Продвигаемся дальше по припаю. Все ближе подступают к берегу льды. Василий Николаевич замечает на них черное пятнышко.

– Смотри-ка, кажется, движется. Не морской ли зверь? – говорит он, показывая рукою вперед на огромную льдину, упершуюся краем своим в припай.

Остановились. В бинокль я вижу: черный комочек ползет на верх льдины и там замирает.

– Маленькая нерпа, – сказал я.

Василий Николаевич сбрасывает с плеча малокалиберную винтовку, заряжает ее, и мы, пригнувшись, почти ползком крадемся к зверю.

Метров через сто мы останавливаемся, выглядываем из-за камня. Нерпа, не замечая охотников, лежит у самого края льда, отбросив лопастый хвост. Но стрелять далеко.

Подбираемся к краю припая и снова ползем к льдине, на которой лежит нерпа. Василий Николаевич осторожно просовывает вперед ствол винтовки, прижимает ложе к плечу и, приподнявшись, выглядывает. Я жду выстрела. Охотник же, не поворачивая головы, рукой подает мне знак приподняться и шепчет:

– Спит...

В двадцати метрах от нас беспечно спал маленький зверь, длиною с метр, повернув усатую, слегка поседевшую мордочку к солнцу. Видимо, так приятно было ему, так тепло, что он забыл про опасность.

Василий Николаевич, растроганный этой сценой, и не вспомнил про винтовку. Облокотившись о кромку льдины, он внимательно рассматривал зеленовато-рыжий комочек, изредка вздымающийся от равномерного дыхания. Где-то близко крикнула чайка. Нерпа открыла глаза и удивленно посмотрела на нас, будто хотела сказать: «Зачем вы мешаєте мне погреться на солнышке?» Потом повернула к солнцу серебристое брюшко, шлепнула, видимо от удовольствия, хвостом и снова заснула.

Вдруг над нами прочертил воздух пернатый хищник, догоняя пролетевшую стайку чирков, и нерпа мгновенно спрыгнула в воду.

– Видишь, откуда она почуяла опасность, с воздуха! Ну и глупая! – сказал Василий Николаевич, и мы тронулись дальше.

В полдень подошли к мысу. Ветер усиливался. Льды, продолжая наступать, выпирали на берег, лезли друг на друга, ломались и с грохотом рушились вниз. Мимо нас поспешно пролетали гурты птиц.

– Кажется, буря будет, что-то похолодало, – сказал Василий Николаевич.

Теперь перед нами лежало открытое море. Солнце обливало его потоком радужных огней. Бесчисленные гряды серебристых волн, гонимые холодным ветром, то набегали одна на другую, то вздымались высоко-высоко, словно дикие кони, то смешивались в гигантский вал и с яростью набрасывались на рифы, преграждавшие подступ к мысу.

Море металось в бессильной попытке вырваться из гигантской чаши, разрушить береговые твердыни, сковавшие его просторы. Какая неизмеримая в нем сила!

Но вот перед нами и мыс. Его грудь, изъеденная ветром, надвинулась на море, как бы готовясь ринуться в схватку. К мысу издалека подходят стены отвесных скал. Непокоримой кажется граница между этими двумя вечно враждующими титанами – морем и сушей. Но это только первое впечатление, пока не присмотришься. На черных и безжизненных скалах лежат неизгладимые следы разрушений. Этому свидетели и одиноко торчащие островки, и рифы, и скатившиеся в море глыбы твердых пород. Несомненно, все они когда-то в далеком прошлом составляли неразрывное целое с материком, отступившим в борьбе с морем и ветром.

Эта борьба продолжается и теперь. Волны затопляли рифы, лезли на скалы, бросая на них льдины, плавник. Какая необузданная сила в этом натиске! Но для того чтобы отвоевать у материка несколько десятков метров скал, морю потребовались тысячелетия.

Величественно стоят береговые громады, оберегающие границу материка. Удары волн, неповторимо своеобразный стон скал, крик чаек – все это сливалось в общий гул и уносилось ветром.

Пора было возвращаться в лагерь, но Василий Николаевич запротестовал:

– Успеем. Давайте поднимемся выше и еще сверху взглянем. Может быть, больше не придется побывать здесь.

Взбираемся на небольшой уступ и молча любуемся разбушевавшейся стихией. Ужасно ее вечное однообразие. Та же голубизна, те же волны, штормы, та же непримиримая борьба с материком, как это было тысячи лет назад. «А что же скрыто в морских глубинах?» – вдруг подумалось мне. Туда не проникают лучи солнца. Там постоянный мрак и нерушимый покой. Но это не безжизненное пространство. Морское дно, так же как и поверхность суши, состоит из впадин, возвышенностей, гор. Там свои пустыни, дремучие леса разнообразных водорослей, своеобразные луга. И все это огромное подводное пространство заселено живыми существами, мало или совсем не известными человеку.

Мы еще не имеем подробной карты дна океанов и морей и далеко не все знаем о сокровищах, спрятанных там, о том, что растет и какие организмы обитают в темноте. Там все настолько необыкновенно, что даже воображение ученого бессильно представить полную картину жизни морских глубин.

Наука все настойчивее проникает в тайны подводного мира. Ну как не позавидуешь смельчакам, на долю которых пала сложная борьба за освоение морских богатств, тем, кому придется перестраивать природу океанов! Их ждут великие открытия!..

Погода не унималась. Ветер обжигал лицо, проникал под одежду и с воем уносился вглубь материка. Ни уток, ни бакланов. Исчезли и чайки. Все попрыталось. Только одинокий орел, споря с ветром, высоко парил над нами.

В лагерь вернулись поздно вечером. После ужина все собрались в нашей палатке. Василий Николаевич рассказывал товарищам о шторме, о скалах, о погибшем корабле, достал из сумки ракушки, камешки, листики и корешки водорослей, собранные им для коллекции. Я, несмотря на усталость, уселся за дневник.

На второй день утром за нами прилетел самолет. На смену Королеву прибыл техник Григорий Титович Коротков. Среди привезенных журналов и газет я нашел два письма, адресованных нам с Трофимом Николаевичем. Их прислала Нина Георгиевна. «Я вам не отвечала более года, – писала она мне. – Нехорошо, знаю. Вы меня ругаете, конечно, плохо думаете. У меня умер муж, человек, которого я тоже любила. Теперь, когда прошло много времени, я смирилась со своим горем и могу подумать о будущем. Я написала подробное письмо Трофиму, не скрывая ничего, пусть он решает. Я согласна ехать к нему. Если его нет близко возле вас, передайте ему мое письмо. Остальное у меня все хорошо, Трошка здоров, пошел в школу. Ваша Нина».

Наконец-то можно было порадоваться за Трофима, если... если это письмо вообще не запоздало. Жизнь Королева по-прежнему в опасности. Но я знал, что письмо Нины ободрит больного, поможет противостоять недугу.

Пока загружали машину, мы с Василием Николаевичем и Геннадием пошли в больницу. Дежурный врач предупредил, что в палате мы не должны задерживаться, что больной, услышав гул моторов, догадался о нашем отлете и очень расстроился.

Трофим лежал на койке, прикрытый простыней, длинный, худой. Редкая бородка опушила лицо. Щеки горели болезненным румянцем, видимо, наступил кризис и организм напрягал последние силы. Больной ни единым словом, ни движением не выдал своего волнения, хотя ему было тяжело расставаться с нами.

– Нина Георгиевна письмо прислала, хочет приехать совсем к тебе, – сказал я, подавая ему письмо.

– Нина?... Что же она молчала так долго? – прошептал он, скосив на меня глаза.

– Она обо всем пишет подробно... Почему ты не радуешься?

Он молча протянул горячую руку. Я почувствовал, как слабо бьется его сердце, увидел, как неравномерно вздымается грудь, и догадался, какие тревожные мысли его волнуют сейчас.

– Не беспокойся, все кончится хорошо. Скорее выздоравливай и поедешь в отпуск к Нине.

Трофим лежал с закрытыми глазами, почти восковой. Видимо, собрав всю свою волю, он сдерживал в себе внутреннюю бурю. На сжатых ресницах копилась прозрачная влага и, свернувшись в крошечную слезинку, пробороzdила худое лицо.

– Мне очень тяжело... Трудно дышать... Кажется, запоздали... и Нина и счастье...

Он хотел еще что-то сказать и не смог.

– Крепись, Трофим, и скорее поправляйся.

Больной открыл влажные глаза и устало посмотрел за окно. Там виднелись мачты зимующих катеров, скалистый край бухты, затянутый сверху густой порослью елового леса, и кусочек голубого неба. До нас доносился гул моторов.

– Вам пора... – И он сжал мою руку.

Тяжело было расстаться с ним, бросить одного на берегу холодного моря. Трофим уже давно стал неотъемлемой частью моей жизни. Но я не мог распоряжаться собой и должен был немедленно возвратиться в район работ.

Мы распрощались.

– Задержитесь на минутку, – прошептал Трофим и попросил позвать врача.

Он с трудом сдерживал волнение.

Когда пришел врач, Трофим приподнялся, просунул руку под подушку и достал небольшую кожаную сумочку квадратной формы с прикрепленной к ней тонкой цепочкой.

– Это я храню уже семнадцать лет. С тех пор как ушел от беспризорников. Здесь зашито то, что я скрыл от вас из своего прошлого. Не обижайтесь... Было страшно говорить об этом, думал, отвернетесь... А после стыдно было сознаться в обмане. Евгений Степанович, – уже шепотом обратился он к врачу, – если я не поправлюсь, отошлите эту сумочку в экспедицию. А Нине пока не пишите о моей болезни... – И Трофим безвольно опустил на подушку.

Евгений Степанович проверил пульс, поручил сестре срочно сделать укол.

– У него стойкий организм. Думаю, что это решит исход болезни. Но для полного восстановления здоровья потребуется длительное время, – сказал врач.

Выйдя из больницы, я медленно шел по льду к самолету и продолжал думать о Трофиме, об удивительном постоянстве его натуры, которое позволило так долго хранить свое чувство к Нине, о сильной воле, которая не покидала его и сейчас, в смертельно-трудные минуты. Горько думалось и о том, что, может, ему не придется вкусить того счастья, к которому он стремился всю жизнь и которое стало близким только сейчас, когда жизнь его висит на волоске. Заставили меня призадуматься и слова Трофима о таинственной кожаной сумочке. Мне казалось, что я знал все более или менее значительное о его тяжелом прошлом, знал и о преступлениях, совершенных им вместе с Ермаком, возглавлявшим преступную группу беспризорников. Что же Трофим мог скрыть от меня?

Коротков со своим подразделением должен будет еще с неделю задержаться в бухте, пока окончательно не придут в себя спутники Трофима Николаевича – Юшманов, Богданов, Харитонов, Деморчук. К ним уже вернулась прежняя жизнерадостность. В молодости горе не задерживается.

Через час самолет поднялся в воздух, сделал прощальный круг над бухтой и взял курс на юг. Семнадцатого марта в полдень мы были дома.

## Часть вторая

### 1. Колхозный смолокур. – Знакомство с Пашкой. – Голубая лента. – Избушка на краю бора. – Пашка-болеельщик

В штабе затишье. Все подразделения уже далеко в тайге, и странно видеть опустевший двор, скучающего от безделья кладовщика и разгуливающих возле склада соседских кур. Необычно тихо и в помещении. На стене висит карта, усеянная условными знаками, показывающими место стоянок подразделений. Самую южную часть территории к востоку от Сектантского хребта до Охотского моря занимает топографическая партия Ивана Васильевича Нагорных. Севернее ее до Станового расположилась геодезическая партия Василия Прохоровича Лемеша, на восточном крае Алданского нагорья – Владимира Афанасьевича Сипотенко. На карте вся эта огромная территория пестрит условными флажками. Как только наступит тепло, все флажки придут в движение, переместятся и до глубокой осени будут путешествовать по карте, отмечая путь подразделений.

Наш маршрут остается прежним. Отправляемся на реку Мая к Лебедеву, чтобы обследовать стык трех хребтов. Затем уйдем в верховья реки Зеи искать проход через Становой. Путь далекий, предстоит на нартах покрыть расстояние около пятисот километров по безлюдной тайге и снежной целине, где для нас никто не промял дороги. Нужно торопиться, чтобы успеть до распутицы добраться до места работы. Вылет на косу, где живут наши проводники, назначен на завтра, но вечером выяснилось, что в районе посадки самолета свирепствует непогода. Придется задержаться. Ко мне зашел Василий Николаевич. Нужно было кое-что выписать со склада и разрешить ряд вопросов, связанных с отъездом. Мы только сели за стол, как в комнату вошла хозяйка с кипящим самоваром.

– К вам дедушка пришел, войти стесняется, может, выйдете? – сказала она, заваривая чай.

В сенях стоял дородный старик, приземистый, лет шестидесяти пяти, в дубленом полушубке, перевязанном кумачовым кушаком. На голове у него была лисья шапка-ушанка, надвинутая глубоко на брови.

– У нас промежду промышленников слушок прошел, будто вы охотой занимаетесь, вот я и прибежал из зимовья, может, поедете до меня, дюже коза пошла! – проговорил он застенчиво, переступая с ноги на ногу.

– Вы что же, охотник?

– Балуюсь, – замялся он, – с малолетства маюсь этой забавой. Еще махонький был, на выстрел бегал, как собачонка, так и затянуло. Должно, до смерти.

– Заходите!

Старик потоптался, поцарапал унтами порожек и неловко ввалился в комнату.

– Здравствуйте!

Немного осмелев, он уселся на краешек табуретки, сбросил с себя на пол шапку-ушанку, меховые рукавицы и стал сдирать с бороды прилипшие сосульки, а сам нет-нет, да и окинет пытливым взглядом помещение.

– Раздевайтесь!

– Благодарю. Ежели уважите приехать, то я побегу. А коза, не сбрехать бы, вон как пошла, табунами, к хребту жметя, должно, ее со степи волки турнули.

Василий Николаевич так и засиял, так и заерзал на стуле.

– Да раздевайтесь же, договориться надо, где это и куда ехать, – сказал он.

– Спасибо, а ехать недалеко, за реку. Я ведь колхозный смолокур, с детства в тайге пропадаю. Так уж приезжайте, два-три ложка прогоним и с охотой будем...

Сухое, обожженное ветром лицо старика перетягивалось вздувшимися прожилками.

– Где же мы вас найдем?

– Сам найдусь, не беспокойтесь. Пашка, внучек, вас дождется и отсюда на Кудряшке к седловине подвезет. Он, шельма, насчет коз во как разбирается, мое почтение! Весь в меня, негодник, будет, – и его толстые добродушные губы под усами растянулись в улыбке. – В зыбке еще был, только на ноги становился, и что бы вы думали? Бывало, ружье в руки возьму, так он весь задрожит, ручонками вцепится в меня, хоть бери его с собой на охоту. А способный какой! Малость подрос – ружье себе смастерил из трубки, порохом начинил его, камешков наложил... Вот уж и грешно смеяться, да не утерпишь. Бабка белье в это время стирала. Он подобрался к ней, подпалил порох, да как чесанул ее, она, голубушка, и полетела в корыто, чуть не захлебнулась с перепугу... Так что не беспокойтесь, он насчет охоты разбирается... Где умишком не дотянет, хитростью возьмет...

– По случаю нашего знакомства, думаю, не откажетесь от рюмки водки. Пьете? – спросил я старика.

Тот смешно прищелкнул языком и, разглаживая влажную от мороза бороду, откровенно взглянул на меня.

– Случается грех... Не то чтобы часто, а приманивает. Пора бы бросить, да силен в ней бес, ой, как силен!

Старик выпил, вытер губы, смоченные водкой, а бутерброд есть не стал, переломил его пополам и всунул в рукавицу.

Василий Николаевич вышел вместе со стариком.

Я стал переодеваться. Слышу, приоткрылась дверь, и в комнату заглянула взлохмаченная голова с птичьим носом, разрисованным мелкими веснушками. Парнишка боком просунулся в дверь, снял с себя козью доху, бросил ее у входа. Это был Пашка.

На нем была важная пара с чужого плеча и большие унты, вероятно, дедушкины обноски. Поверх этого костюма, напоминающего водолазный скафандр, торчала на тоненькой шее голова с беспорядочно взбитыми волосами. Серые ястребиные глаза мгновенно пробежали по всем предметам комнаты, но во взгляде не мелькнуло ни тени удивления или любопытства.

– Здравствуйте! – сказал он застенчиво. – У вас тепло... Вы не торопитесь. Пока дедушка добежит до лога, мы лучше тут подождем – в тайге враз продует.

– Куда же он побежал?

– Мы-то поедем напрямиком до седловины, а он по Ясненскому логу пугнет на нас коз.

– Пешком и побежал?!

Пашка улыбнулся, широко растягивая рот.

– Он у нас чудной, дед, сроду такой! До зимовья двенадцать километров, а за тридцать лет, что живет дедушка в тайге, он на лошади ни разу туда не ездил. Когда Кудряшка была молодой, следом за ней бегал. А теперь она задыхается в хомуте, спотыкается. Так дед пустит ее по дороге, а сам вперед рысцой до зимовья. Она не поспевает за ним.

– А как же зовут твоего дедушку?

– Не могу выговорить правильно, сами спросите. Его все Гурьянычем, по отцу, величают. Сказывают, он будто был одиннадцатым сыном, родители все имена использовали, ему и досталось самое что ни есть крайнее. Ниподест, что ли!

– Анемподест?

– Да, да... Он у вас ничего не просил?

– Нет.

– А ведь ехал с намерением. Значит, помешкал. У нас на смолокурке все к краю подходит: зимовье на подпорках, бабушка старенькая, да и Кудряшка тоже. А Жучка совсем на исходе,

даже не лает, так мы с дедушкой хотели щенка раздобыть. Говорят, у вас собаки настоящей породы, – и паренек испытующе посмотрел мне в глаза.

– Собаки-то есть, только когда будут щенки, не знаю, да и будут ли.

– Бу-у-дут, – убежденно ответил Пашка. – К примеру, наша Жучка каждый год выводит щенят, да нам хотелось породистого. Мы уже и будку ему сделали и имя придумали – Смелый... Значит, еще неизвестно?

Пока он рассказывал семейные секреты, я переоделся.

– Чаю со мной выпьешь?

– С сахаром? А что это у вас, дядя, за коробка нарядная?

– С монпансье.

– Знаю, это такие кисленькие леденцы, – и он громко прищелкнул языком.

– Могу тебе подарить.

– С коробкой?

– Да.

– Что вы, ни-ни!.. – вдруг спохватился он. – Дедушка постоянно говорит, что я за конфетку и портки свои продам, брать не велит. А чай с монпансье выпью... Какие у вас маленькие чашки!

Пил Пашка долго, вольготно, даже вспотел, и все время шмыгал носом. А беспокойные глаза продолжали шарить по комнате.

– У вас, видно, настоящая дробовка? Наверно, тыщу стоит? – и Пашка, покосившись на мое ружье, затажно вздохнул. – А дедушка с пистонкой промышляет. Старая она у нас, к тому же ее еще и грозой чесануло: ствол сбоку продырявило и ложу расщепило. И стреляет смешно: вначале пистон треснет, потом захарчит, тут уж держись покрепче и голову нужно отворачивать: может глаза огнем вышибить. Дедушка говорит, нашей пистонке трудно запалиться, а уж как стрелит – любую зверушку сразу сшибет.

– С таким ружьем не долго беды нажить. Новое нужно купить.

– Край нужно, да что поделаешь с бабушкой, она с нами не согласна насчет покупки ружья, денег не дает, а то бы мы с дедушкой давно купили. В магазин часто заходили, дедушка все ружья пересмотрит, выберет и скажет: «Ну и хороша же, Пашка, дробовка!» С тем и уйдем из магазина.

– Почему же бабушка против покупки?

– Говорит, что я тогда из тайги вылезать не буду, школу брошу.

– Ты тайгу любишь?

– Люблю. Эх, ружье бы! Вот если бы ружье! – И Пашка задумался. Он смотрел в угол, где стояла моя двустволка, а воображение рисовало заманчивую картину, как он с настоящим ружьем бродит по тайге, стреляет зайцев, косачей и как, нагрузившись дичью, возвращается к бабушке в зимовье.

Пришел Василий Николаевич, и мы, не задерживаясь, покинули избу.

За воротами дремала тощая, грязно-серой масти лошаденка, запряженная в розвальни.

– Ну-ка, Кудряшка, прокати! – ласково крикнул Пашка, отвязывая вожжи.

Лошадь качнулась, махнула облезлым хвостом и лениво потащила нас по незнакомым переулкам.

– Надо бы торопиться, солнце низко, – посоветовал Василий Николаевич...

– Ее не раскачать, а собаки попадутся – совсем станет. Только уж не беспокойтесь, я дедушку не подведу, вовремя приедем. Ну ты, Кудряшка, шевелись!

За поселком Кудряшка будто пробудилась и побежала мелкой рысцей, грузно встряхивая тяжелым животом.

– Она у нас подслеповатая, думает, что впереди дед бежит, вот она и торопится. Иной раз даже заржет, только от голоса у нее осталась одна нотка, да и та тоненькая. Колхоз давно

другого коня давал, а дедушка говорит: нам торопиться некуда. У нас с ним все ведь распланировано: в это лето зимовье новое сложим, осенью ловушки в тайге подновим, а Кудряшка включена в наш план до ее смерти...

– А как твои дела в школе? – спросил его вдруг Василий Николаевич.

Пашка дернул вожжой, продул громко нос и заерзал ногами по сену.

– Вон в тех колках ну и косача же много! – сказал он, показывая кнутовищем вправо на залесенные холмы. – У нас там с дедушкой шалаши налажены. Скоро птица играть начнет, слетится да как зачужфывает, замурлыкает, аж дух захватывает. А дерутся по-настоящему. Иногда в кровь заклюют...

– Со школой, спрашиваю, у тебя как? – перебил его Василий Николаевич.

– Со школой? – Пашкино лицо вдруг помрачнело. – С арифметикой не в ладах, – процедил он чуть слышно. – Пока примеры были, понимал что к чему, а как пошли задачи – вот тут-то и прижало меня. Дедушка рассказывает, что у нас во всем потомстве считать сроду не умели, вся надежда, мол, на тебя, внучек! Ежели, дескать, арифметику не одолеешь, то нашему роду каюк. Сам, говорит, видишь, что делается на этом свете, без арифметики теперь жить нельзя, сади окажешься. Вишь, куда он клонит! Значит, я должен за весь род ответ держать!

– Дед правильно говорит. А ты как думаешь?

– Конечно, жалко мне свой род, – снисходительным тоном ответил Пашка. – Придется бороться с арифметикой, а то, и верно, затолкают нас под низ.

За рекою дорога свернула влево, прорезала степь и глубокой бороздою завилыла по березовым перелескам. По синему небу плыли легкие облака, облитые золотистыми лучами заходящего солнца. Навстречу нам лениво летели вереницы ворон. Вечерело...

У холмов Пашка подъехал к стогу сена, остановился.

– Дедушка теперь на месте. До заката солнце стукнет. Коза сразу пойдет, не задержится, чуткая она, далеко хватает.

Мы с Василием Николаевичем помогли Пашке распрячь лошадь, развести костер. Я поднялся на левую седловину и осмотрелся. За ней лежал широкий лог, покрытый старым листовенничным лесом, и дальше – серебристая степь, прочерченная темными полосками ельников.

У старого толстого пня я утоптал снег и замер в ожидании. Василий Николаевич был справа на соседней седловине.

Тихо догорал холодный февральский день. Солнце, вырвавшись из-за нависших туч, облило прощальными лучами холмы, на какое-то мгновение осветило лежащую позади широкую равнину и потухло, разлив по небу багряный свет.

Минуты тянулись медленно. Все тише становилось в лесу. Вдруг далеко-далеко, где-то в глубине лога, точно вскрикнул кто-то. «Кажется, гонит», – мелькнуло в голове. Я смотрю вниз, прислушиваюсь. Слабой волной дохнул ветерок, освежая лицо. Сердце стучало напряженно, но тишина по-прежнему нерушима. Ничего не видно.

Тухнет у горизонта заря. Темнеет лог, и где-то на холме стукнул последний раз дятел. Вдруг, словно в пустую бочку, кто-то ухнул, – заревел козел. Далеко внизу мелькнул табун коз и остановился, как бы выбирая направление. Гляжу, идут на меня. С какой легкостью они несутся по лесу, перепрыгивая через кусты, валежник! Но на бегу козы забирают левее и проходят мимо, к соседней седловине.

Еще не смолк шелест пробежавшего по снегу табуна, вижу, оттуда же, из глубины лога, невероятно большими прыжками несутся одинокий козел. Быстро мелькает он по лесу, приближаясь ко мне. Руки сжимают ружье. Трудно, почти невозможно убить козла на таком бешеном скаку. Вот он уже рядом. Три прыжка – и мы столкнемся. Палец касается спуска, еще одно мгновение... Но козел неожиданно замер возле меня.

Выстрел задержался. Козел стоял в профиль, смело повернув ко мне голову, показывая всего себя: дескать, посмотри, каков вблизи! Я не мог оторвать глаз. Какая точность линий,

какие изящные ножки, мордочка, какая стройная фигура! Кажется, ни одной шерстинки на нем нет лишней, и ничего нельзя добавить, чтобы не испортить красоты. Большие черные глаза светились детской доверчивостью.

Он осматривал меня спокойно, как знакомого. Потом поднял голову и, не трогаясь с места, посмотрел в глубину лога, медленно шевеля настороженными ушами. Тревога оказалась напрасной. Козел, не обращая на меня внимания, вытянул голову и принялся срывать листья сухой травы... «Что это?!» – чуть ли не вскрикнул я. Его шея повязана голубой лентой! Да, настоящей голубой лентой!

– У-ю-ю-ю... – из края лога доносился голос Гурьяныча.

Козел сделал прыжок, второй, мелькнул белым фартучком и исчез, как видение. А я все еще был под впечатлением этой необычной встречи. Кто привязал ему голубую ленту? Чья рука касалась его пышного наряда?

Вдруг справа и ниже седловины щелкнуло два выстрела. Неужели убит? Может быть, он только ранен и его удастся спасти... Я, не задерживаясь, зашагал по следу.

Тучи, проводив солнце, ступились, нахмурились. Все темнее становилось в тайге. Шел я медленно, с трудом различая след, который привел меня не на седловину, к Василию Николаевичу, а к глубокому ключу. Стало совсем темно. На небе ни единой звездочки. И холмы на горизонте точно исчезли.

Вскоре я потерял и след. Куда же теперь идти? Пожалуй, лучше ключом, по нему скорее выйду на седловину.

Скоро ключ раздвоился, затем еще и еще, а седловины все не было. Стало ясно, что я заблудился. Далеко-далеко послышался выстрел, – это наши подавали сигнал. Я иду на звук, иду страшно долго. Знаю, что меня ищут, мне кричат, но я брожу где-то по кочковатой равнине, по-прежнему тороплюсь и в этой спешке больше запутываюсь. Ко всему прибавилась еще и усталость.

Когда перевалило за полночь, пошел снег. Я уже решил было развести костер и бросить бесполезное мытарство в темноте, но неожиданно набрел на дорогу. Обрадовался. Куда же идти: вправо или влево? Любое направление должно привести к жилью, с той только разницей, что с одной стороны должна быть колхозная заимка, как мне казалось, километрах в шести, а с другой – прииск, до которого и сотню километров насчитаешь. Сам не знаю, почему я пошел вправо. Иду долго, все увалами да кочковатым болотом. Наконец во тьме блеснул долгожданный огонек. Как я ему обрадовался.

Огонек светил в лесу. Там стояло старенькое зимовье, маленькое, низкое, вросшее в землю и сильно наклонившееся к косогору. Я с трудом разыскал дверь и постучался.

– Заходи, чего стучишь, – ответила женщина. – Нездешний, что ли?

– Угадали, – сказал я, с трудом пролезая в узкую дверь. Свет керосиновой лампы освещал внутренность избышки. Слева стоял стол, заваленный посудой, возле него две сосновые чурки вместо табуреток. У порога лежала убитая рысь, прикрытая полой суконной однорядки. Там же было и несколько свежих беличьих тушек. На бревенчатой стене висели капканы, ремни, ружье, веники и связки пушнины. В углу на оленьих шкурах лежала женщина с ребенком.

– Однако, замерз? Клади в печку дров, грейся! – сказала она спокойно, будто мое появление не вызвало в ней любопытства.

Это была эвенка, лет тридцати пяти, с плоским скуластым и дочерна смуглым лицом.

– Вы одна не боитесь в тайге? – спросил я ее немного отогревшись.

– Привычные! Постоянно охотой живем... Какое у тебя дело, что ты ночью ходишь? – вдруг спросила она, пронизывая меня взглядом.

– Я заблудился, увидел огонек, вот и пришел.

– А-а, это хорошо, мог бы замерзнуть. В кастрюле бери чай. Сахар и чашка на столе, – сказала она, отвернувшись к ребенку, но вдруг приподнялась: – Еще кто-то идет!

До слуха донесся скрип лыж. Дверь приоткрылась, и снаружи просунулась заиндеветая голова Гурьяныча. Старик беспокойно оглядел помещение, широко улыбнулся и высунулся всей своей мощной фигурой на середину зимовья.

– Здравствуй, Марфа. Ты чего это мужиков стала приманивать к себе?

– Сам идет. Окошко сделали нарочно к дороге, огонь ночью не гасим, кто заблудит, так скорее зимовье найдет.

– Вот они и лезут к тебе, как мухи на свет, – перебил ее Гурьяныч. – Тешка где? Увижу, непременно наболтаю на тебя.

– Ушел ловушки закрывать, скоро промысел кончается.

– Борьки тоже нет? Зря его пускаешь, – продолжал старик уже серьезно.

– Он большой, сам как хочет живет.

Гурьяныч откинул ногой полу однорядки, прикрывавшую рысь.

– Эко здоровенная зверушка! В капкан попалась?

– Нет, собака на дерево загнала, а я убила. Раздевайся!

– Спасибо, Марфа, побегу, чай даже пить не стану, – ответил он и повернулся ко мне. – Ну и покружили вы, во как, дай бог здоровья, да и все петлями, то взад, то вперед. Еле распутал!

– А где наши?

– Пашка в обход пошел к заимке, я – следом. А Василий Николаевич на сопке костер держит, кричит да стреляет, знак подает.

– Сколько беспокойства наделал, – произнес я вслух, досадуя на себя.

– Ничего, бывает. Я вот сколько лет живу в зимовье на смолокурке, а иной раз встанешь ночью, выйти надо, и дверь не найдешь – блудишь в четырех стенах за мое почтение! А тут ведь тайга. Так что спите, утром раненько Пашка на Кудряшке прибежит за вами.

– А вы куда?

– К ребятам, мы ведь договорились сойтись у стога. Побегу!

– Я пойду с вами.

– Без лыж, упаси бог, не пройти, снегу навалило во как! – И он ладонью прочертил возле коленки. – К тому же я напрямик срежу. Места знакомые.

Скрипнула дверь, и в темной, растревоженной ветром тайге смолкли шаги Гурьяныча.

«Вот они, наши старики сибиряки. Ведь Гурьянычу шестьдесят пять лет. Что же гонит его в такую непогодь из теплой избы, зачем старик бродит по темному лесу? Пожалуй, он и сам не ответит».

В зимовье стало жарко. Я прилег на шкуру и крепко уснул. А снег все шел и шел...

Утром меня разбудил детский плач. Хозяйка уже встала и возилась возле печки за приготовлением завтрака. Пахло распаренной сохатиной и луком.

– Чем это он недоволен? – спросил я.

– Петро-то? Должен был Борька прийти, да чего-то задержался, вон он как ревет. Да и я беспокоюсь тоже, чего доброго заплачу.

– У вас сколько же детей?

– Двое. Петро да Борька.

Снаружи послышался легкий стук. Петро вдруг смолк и, вытирая рукавом мутные слезы, заулыбался, а Марфа открыла дверь. Вместе со струей холодного воздуха в зимовье ворвался тот самый козел с голубой лентой. Радостный, веселый, он, как весенний день, был полон энергии.

– Пришел, Боренька, хороший мой, – сказала ласково, нараспев, Марфа, приседая.

Тот бросился к ней, лизал лицо, руки, а Петька гоготал от радости, обнимал, виснул на Борьке.

Я встаю, невольно взволнованный этой трогательной картиной. Меня поражает не красота молодого козла, а настоящая любовь, которой связаны эти три существа, живущие в вет-

хом зимовье, на краю старого бора. Мне стало страшно при одной мысли, что я мог убить Борьку, в котором живет такая нежная привязанность к человеку.

Ласкаясь, Борька косит свои черные глаза на стол.

Марфа ревниво отворачивает его голову, но тот вырывается. В дальний угол кувырком летит Петька и, стиснув от боли пухлые губы, молчит, а слезы вот-вот брызнут из глаз.

– Любит дьяволенка, не плачет, а ведь ушибся, – говорит Марфа, поднимая сына.

На столе Борьку ожидает завтрак – хлебные крошки. Он поднимает голову и, ловко работая языком, собирает их в рот. А Марфа что-то ворожит в углу, нагнувшись над деревянной чашкой. Борька слышит, как там булькает вода, это его раздражает, он начинает торопиться и нервно стучит крошечными копытцами о пол. Петька подбегает к матери, явно намереваясь преградить Борьке путь к чашке. Мальчишка разбрасывает ручонки, упирается ножонками в пол, надувая покрасневшие щеки. Но Борька смело налетает на него, отталкивает грудью и лезет к чашке, а Петька доволен, хохочет, заражая смехом и меня.

Припав к чашке, Борька с жадностью пьет соленую воду, фыркает, обдавая брызгами мальчишку.

– Иссе... Иссе... – кричит тот, захлебываясь от смеха.

С Петькой Борька расправляется как с надоедливой братишкой. Да и есть за что. Мать то и дело кричит сыну: «Петька, не приставай, не висни!» Но какой мальчишка утерпит не дотронуться до такой замечательной живой игрушки?

После завтрака Борька заметно становится вялым, им начинает овладевать какое-то безразличие.

– Хватит смеяться! – повелительно кричит Марфа.

Она ловит сына, одевает в меховую дошку и выталкивает за дверь.

– Иначе не даст уснуть Борьке, – говорит она, подбрасывая в печку дрова.

А козел крутится посреди зимовья. Он ищет место для отдыха, бьет по полу копытцами, отгребает ногами воображаемый снег и падает. Ему кажется, что он лег в лунку, сделанную им на земле.

Мы вышли из зимовья. Неведомо куда исчезли тучи. Над заснеженной тайгой появилось солнце, и тотчас словно брызнул кто-то алмазным блеском на вершины сосен. Каким нарядным казался лес после ночного снегопада! Все принарядилось, посвежело. Под тяжестью толстых гирлянд низко к земле склонились кроны.

– Он маленький прибежал к нам прошлой весной, – рассказывала Марфа спокойным голосом. – Вышла из зимовья, слышу, кто-то кричит совсем как ребенок. Потом увидела, бежит ко мне козленок, маленький, только что родился, мать зовет. Проклятые волки тут на увале ее разорвали. Поймала я козленка и оставила у себя. Так он и прижился. А вот теперь, если не придет утром из тайги, сердце болит, нехорошие мысли в голову лезут. Борька ласковый, мимо человека не пройдет, а не понимает, что опасность, – могут по ошибке, а то и со зла убить... Люди разные, иной хуже зверя, так и норовит нашкодить.

– А вы не пускайте его из зимовья, – посоветовал я, вспомнив свою встречу с ним.

– Что ты! Без тайги зверю неволя. Нельзя не пускать. Вечерами Борька уходит в лес и там живет с дикими козами, кормится, играет, а утром обязательно прибежит. Хороший он у нас, даром что зверь. Смотри сюда. Видишь, дыра в обшивке двери, это он копытом пробил, когда стучался. Утром постоянно ждешь этот стук, Петька ревет, и сама думаю: придет ли?

– Надо бы ему пошире ленту на шею привязать, чтобы дальше было видно.

– Скручивается она на нем в лесу. Понимаю, что нужно...

– Тр-р-р... – вдруг послышался голос Пашки. – Здравствуйте, тетя Марфа.

– Ты что так рано, мы еще не завтракали, – сказала она.

– За дядей приехал, – ответил он, подходя к Петьке. – Здорово, мужик! Где твой Борька? Убежал?

– Тише, спит... – прошептал мальчишка, пригрозив пальчиком.

Я поблагодарил хозяйку за гостеприимство, распрощался с толстопузым Петькой, и мы уехали.

Кудряшка лениво шагала по занесенной ночным снегопадом дороге. В морозном воздухе было тихо, точно зачарованная, стояла старая тайга, облитая радужным светом уже поднявшегося солнца.

– Василий Николаевич здоровенного козла сшиб, еле стащили с седловины. А вы, значит, тово? Дедушка промажет, начинает хитрить: дескать, мелкая дробь попалась или веточка не дала выцелить... – говорил Пашка, явно вызывая меня на разговор.

Но я все еще не мог оторваться мыслями от лесной избушки. Так и запечатлелся козел, ласкающийся к Марфе, с повисшим на нем Петькой...

Летная погода наступила только через два дня. Эта задержка, несомненно, усугубит трудности предстоящего путешествия. Южные ветры все настойчивее бросают на тайгу тепло. В полуденные часы темнеют тополя, наполняя воздух еле уловимым запахом набухающих почек. С прозрачных сосулк падают со стеклянным звоном отогретые капли влаги. На крышах сараев по частоколам, на проталинах дорог уже затевают драки воробьи, до неузнаваемости черные от зимней копоти. Страшно подумать, что тепло может опередить нас. В горах начнется таяние снегов, проснутся ключи, по рекам поползут наледи, и наша цель может оказаться недостижимой.

Вчера получили первую телеграмму из бухты. Врач сообщает, что кризис у Королева прошел благополучно, но раньше как через три недели он не рекомендует выписывать его из больницы. Это сообщение рассеяло нашу тревогу за жизнь больного. Через месяц он уедет в отпуск к Нине, а затем снова вернется к нам в тайгу. Мне очень хочется увидеть его женатым. И Нина и Трофим должны быть счастливы.

Машину загрузили с вечера. Вылет назначен на восемь часов утра. Закончив с делами в штабе, я еще засветло пришел домой и только разделся, как раздался стук в дверь.

– Заходите!

Дверь тихо скрипнула, и в образовавшуюся щель таинственно просунулась нога, обутая в унт. Затем показались два косача, заткнутые за пояс головами. Я сразу догадался, что это пришел Пашка.

– Проходи, что остановился?

– За гвоздь, однако, зацепился, – слышится за стеной ломкий мальчишеский голос, но сам Пашка не показывается, а лишь нарочито трясет косачами, явно дразнит. Я хотел было втащить его, но парень опередил меня, уже стоял на пороге в позе гордого охотника – истребителя тетеревов: дескать, взгляни, каков я и на что способен!

– Где же это тебя угораздило, да еще двух? – сказал я, с напускной завистью рассматривая птиц и заранее зная, что этого-то от меня и добивается парнишка.

Стараясь держать косачей впереди, Пашка боком высунулся на середину комнаты, стащил с головы ушанку и растер ею грязный пот на лице.

– Там же, по Ясненскому, где коз гоняли. Поедете? Страсть как играют. Иной такие фигуры выписывать начнет, – и, склонив набок голову, растопырив полудугою руки, он задергал плечами, пытаясь изобразить разыгравшегося на току косача. – В которых местах много слетится – как зачужьяют да замурлыкают, аж дух забирает. Другие обзарятся – по-кошачьему кричать... Эх, и хорошо сейчас в тайге!

– Не соблазняй, не поеду. Завтра улетаем и до осени не увидимся.

– Значит, не поедете...

И парнишка вдруг охладел. Потух румянец на лице. Неловко переступая с ноги на ногу, Пашка выдернул из-за пояса косачей и равнодушно бросил к порогу.

– Еще и не здоровался, а уже обиделся. Раздевайся, – предложил я ему.

– Значит, зря я вам скрадки налаживал на токах, – буркнул он, отворачивая голову. – Думал, поедете, заночевали бы у костра, похлебку сварили из косача – ну и вкусная же!

В кухне зашумел самовар, и хозяйка загремела посудой.

– Пить охота, – сказал Пашка. – Я только со своей кружкой пришел. У вас чашечки маленькие, из них не напьешься.

Он достал из кармана эмалированную кружку и уселся за стол.

– Я хочу что-то у вас спросить, только дедушке не сказывайте, рассердится, а мне обижать его неохота. Можно мне в экспедицию поступить работать? – И, не дожидаясь ответа, продолжал: – Я в тайге, не хуже большого, любую птицу поймаю. А рыбу на обманку – за мое почтение! Петли на зайцев умею ставить. В прошлое воскресенье водил в тайгу городских ребят. Смешно, они как телята, след глухариный с беличьим путают, ель от пихты отличить не могут. Я даже дедушку на днях пикулькой подманул вместо рябчика. Ох, уж он обиделся! Говорит, ежели ты, Пашка, кому-нибудь об этом расскажешь, портки спущу и по-праздничному высеку!

– Ну что уж привираешь... Как это ты мог дедушку-таежника обмануть? – перебил я его, вызывая на откровенность.

– Вам расскажу, только чтоб дедушка не узнал, – предупредил он серьезно, пододвигая ко мне табуретку и опасливо покосившись на дверь. – Вчера прибежал ночевать в зимовье к дедушке, да запоздал. Ушел он в лес косачей караулить. Ну, и я туда же, его следом. Места ведь знакомые. Подхожу к перелеску, где ток косачиный, и думаю: дай-ка пошучу над дедушкой. Подкрался незаметно к валежине, достал пикульку и пропел рябчиком, а сам выглядываю. Ухо у дедушки острое – далеко берет. Вижу: он выползает из шалаша, шомполку в мою сторону налаживает, торопится, в рот пикульку засовывает. И поет: «тии-и-ти-тии». Я ему в ответ потихоньку: «тии-ти-ти-тии». Он припал к снегу, ползком подкрадывается ко мне, а сам ружье-то, ружье толкает вперед, глаза варежкой протирает, смотрит вверх. Это он на ветках рябчика ищет. Ему и невдомек, что Пашка свистит. Я опять: «тии-ти-тии». Метров на тридцать подполз он ко мне и вдруг ружье приподнял да как бухнет по сучку. Я и рассмеялся. Вот уж он осердился, с лица сменился, думал, подерет. Для этого, говорит, я тебя, негодник, учил пикать, чтобы ты деда обманывал? И пошел и пошел... Возьмите с собою! – вдруг взмолился Пашка, меняя тон.

– Хорошо, что ты любишь природу, но чтобы стать путешественником, нужно учиться и учиться. А у тебя вон с арифметикой нелады...

У Пашки сразу на лбу выступил пот. Парень повернулся на стуле и торопливо допил чай.

– Что ж ты молчишь? Или неправда?

– Вчера с дедушкой вместе решали задачу насчет автомашин с хлебом. Он говорит: я умом тут не соображу, мне нужно натурально, а пальцев-то на руках не хватает для счета – машин много. Он спички разложил и гоняет их по столу взад-вперед. Вспотел даже, разгорячился. Бабушка и говорит ему: «Ты бы, Гурьяныч, огурешного рассольцу хлебнул, может, легче будет, к автомашинам ты же не привышний». Даже богу стала молиться, чтобы задача у нас с дедушкой сошлась.

– Ну и что же, решил он?

– Нет, умаялся да так за столом и уснул. А бабушка поутру баню затопила, говорит, еще чего доброго от твоих задач дед захворает. Всю ночь бредил машинами.

– Это уж ты выдумываешь.

– Не верите? – и Пашка засмеялся.

– А сам-то ты решил?

– Решил... Только неверно... Вы когда полетите? – вдруг спросил он, явно отвлекая меня от нежелательного разговора.

– Завтра утром.

– Я приду провожать. Охота взглянуть на самолет, а без вас не пустят.

– Приходи! – ответил я.

В комнату вошел Плоткин, и наш разговор оборвался. Пашка засуетился, стал собираться и исчез, забыв косачей.

– Вот вам настоящий болельщик, – сказал Рафаил Маркович. – Нет дня, чтобы он не забежал в штаб или к радистам узнать, есть ли какие новости. Когда искали Королева, он часами просиживал у порога. Вы его не пускайте к себе, ведь он совсем забросит школу.

– Можно? – вдруг послышался голос Пашки. – Чуть не забыл!

Он схватил со стола свою кружку, и за ним захлопнулась наружная дверь.

Мы рассмеялись.

– Хитрец, ведь он подслушивал, что будем говорить про него. Забавный парнишка, – заключил Плоткин.

Пашка, пользуясь нашим покровительством, с утра уже был у самолета и с любопытством осматривал его. Все, что возможно, ощупывал руками, заглядывал внутрь, удивлялся. Он, кажется, завидовал не только отлетающим, но даже собакам и ящикам, грузившимся в машину.

Я затащил его в кабину управления самолета и представил командиру корабля.

– Михаил Булыгин, – отрекомендовался тот, пожимая парнишке руку.

Пашкины глаза не знали, на чем остановиться: столько тут было разноцветных рычажков, кнопок, приборов. Даже карта висела в большой планшетке.

– Интересно, да? – спросил Михаил Андреевич, стараясь смягчить свой баритон.

Парнишка стоял молча, понимающе кивая головой и заглядывая во все уголки волшебной кабины.

– Садись на мое место, и мы сейчас с тобой полетим, – шутливо предложил пилот. Пашка недоверчиво покосился на него и осторожно подвинулся вперед. На сиденье взбирался боязливо, будто на мыльный пузырь, готовый лопнуть при малейшем прикосновении.

– Ставь ноги на педали и бери в руки штурвал. Да смелее, не бойся, – подбадривал его Михаил Андреевич.

Пашка бережно прилип руками к штурвальной колонке. Вот посмотрел бы в этот момент дедушка на своего внука – какой восторг пережил бы Гурьяныч!

– Бери штурвал на себя... Так. Мы поднимаемся... А чтобы повернуть самолет вправо или влево, нужно нажать ногою соответствующую педаль. Понял?

Парнишка утвердительно качнул головой, нажал педали, видимо живо представляя, что послушная машина несется в воздухе и что все ребята следят с земли за ним, за Пашкой, который так ловко управляет самолетом.

– А для чего вот эти разноцветные рычажки? – не выпуская из рук штурвала, шепнул он и зачарованно посмотрел на Михаила Андреевича.

– При их помощи управляют работой моторов и винтов. А чтобы не перепутать, рычажки выкрасили в разные цвета.

– А красная кнопочка для чего?

Командир охотно занимался с Пашкой, разжигая его любопытство, а я вышел к провожающим. Погрузка уже закончилась, но вылет задерживался из-за каких-то «неполадок» в атмосфере. Только в одиннадцать часов машина получила разрешение подняться в воздух.

Летели высоко. Земли не видно. Под нами облака. Словно волны разбушевавшегося моря, они перегоняли друг друга, смешивались и, вздымаясь, надолго окутывали нас серой мглой. От напора встречного ветра машину покачивало, и казалось, летит она не вперед, а плывет вместе с облаками назад. Через час в образовавшемся в облаках окне мы увидели под собою тупые горы, долину реки и, наконец, знакомую площадку.

На косе, рядом с нашим грузом, стояла палатка проводников, но ни ее хозяев, ни оленей не было видно. Мы стали разгружать машину.

– Ты как сюда попал? – вдруг послышался голос Василия Николаевича.

– Дядя, не кричи, я тебе пикульку для рябчиков подарю, – ответил вкрадчиво детский голос, и из-под тюков показалась голова Пашки. – Я не успел слезть, – оправдывался он, стряхивая с ватника пыль и хитровато всматриваясь в лицо Василия Николаевича.

– Врешь, а как попал под тюки?

– С испуга, хоть провалиться мне, с испуга. Как загудели моторы, я хотел в дверь выскочить, а попал вишь куда.

Василий Николаевич ощупал у него сумку и удивленно покачал головой.

– Это что у тебя?

– Продукты...

– Знал, что испугаешься, хлеба захватил?

Мальчишка утвердительно кивнул и упорно заглядывал в лицо Василию Николаевичу, как бы пытаясь разгадать, насколько серьезен разговор. А тот вывалил на тюк содержимое сумки. Чего только в ней не было! Сухари, дробь, пистоны, селедка, столовый нож, пикульки, крючки, обманки рыболовные, спички, свинцовая трубка, две гайки, пробки – словом, все, что Пашка успел нажить за свои двенадцать лет жизни.

Василий Николаевич ссыпал всю эту мелочь обратно в сумку и неодобрительно покачал головой.

– Ты, дядя, не сердись, – сказал Пашка, уже разгадав покладистость Василия Николаевича. – Ведь никто даже не подумает, что Пашка Копейкин на самолете улетел. Чудно получилось!

– Слезай-ка! Кто разрешил тебе лететь? – спросил я, стараясь придать своему голосу строгий тон.

– Вы же сами меня посадили! – ошетинился Пашка.

– Но я тебе не разрешал лететь. Ты что? Не хочешь учиться?

Пашка молчал.

– Известное дело – не желает! – рассердился вдруг Василий Николаевич. – Я вот сейчас спущу с тебя штаны да такую таблицу умножения разрисую, надолго запомнишь. Ишь чего вздумал – кататься! – Мищенко не выдержал и рассмеялся.

А Пашка не сдавался.

– Мне, дядя, только бы на оленей взглянуть. Я сбегая за лес?

– Ты никуда не пойдешь и не скроешься. Через пять минут улетишь обратно.

Пашка обиделся, отвернулся от меня и стал рыться в своей сумке.

– Ладно, не останусь... А вы напишите бумажку, что я летал на самолете, без нее ребята не поверят. – сказал он, а в озорных глазах торжество: проделка удалась.

## **II. Встреча с проводниками. – На нартах в далекий путь. – Прошлое Улукиткана. – Засада на волков. – Купуринское ущелье. – В плену у наледи. – Вот и Джугдырский перевал**

Едва мы поставили палатку, из тайги на косу выскочила белая собачонка. Увидев нас, она как бы в недоумении остановилась. К ней тотчас бросился Кучум, но у пня он вдруг задержался. Сделал пометку на нем и замер в нерешительности. Собачонка тоже подошла к тому же пню. Затем, ошетинившись, собаки стали обнюхивать друг друга, как бы пытаясь угадать по запаху, откуда и куда идут, что недавно ели или голодные, у зверя были или бродячие. Заглядывали друг другу в глаза, видимо определяя силу противника или характер. При таких встречах, несомненно, собаки что-то узнают или что-то определяют и, если это необходимо, затевают драку. Между Кучумом и пришедшей собакой, по-видимому, не оказалось спорных вопросов, и они мирно разошлись.

Следом за собачонкой появился и человек. Он молча прошел мимо нас к своей палатке, снял с плеча длинную бердану, стряхнул с дохи снег. Затем достал из-за пазухи лепешку, разломил ее на несколько кусков и все бросил прибежавшей в лагерь собаке.

– Она из стада Ироканского колхоза, видно, зверя гоняла, далеко ушла, бежит обратно, – сказал он и, откашлявшись, плавной походкой направился к нам.

– Здравствуйте... Я думал, напрасно мы тут живем, – так долго не приезжали.

Это был Улукиткан, наш проводник из эвенкийского колхоза.

Он стоял перед нами бесхитростный, маленький, полный покорности. Его темно-серые глаза, прятавшиеся глубоко за узкими разрезами век и, вероятно, видевшие многое за долгие годы жизни, теплились неподдельной добротой. Что-то подкупающее было в его манере держаться перед незнакомыми людьми и в том спокойствии, с каким он встретил нас.

Улукиткан был одет в старенькую, изрядно поношенную дошку, загрубевшую от ветра, снега и костров. На голове у него копной лежала шапка-ушанка, сшитая из кабарожьих лапок. Поверх дошки через плечо висела на тонком ремне кожаная сумочка с патронами и привязанным к ней старинным кресалом.

В глухих таежных местах еще встречаются старики, на которых лежит отпечаток перенесенных в дореволюционное время бедствий, тяжелого труда и нищеты. Они испытывали жестокую эксплуатацию, не раз были жертвой обмана, их чувства подвергались унижению. Они знают, что такое голод, умеют безропотно переносить невзгоды и в то же время полны бодрости, ясных мыслей. В своей памяти они хранят многое, что не записано в истории их края. В них живет необыкновенно чистая, доверчивая любовь к людям, животным и вообще к природе. Именно таким и предстал перед нами Улукиткан. С первой встречи мы почувствовали к нему уважение и привязанность.

Старость много потрудилась над стариком. Она сгорбила ему спину, затянула лицо сеткой морщин, пальцы на руках изувечила подагрой. Над его головой добросовестно поработал и медведь, исполосовав когтями затылок. Говорил Улукиткан медленно, старчески надтреснутым голосом и не всегда справляясь с русским языком. И все же время, да и житейские невзгоды были бессильны стереть с его лица ту привлекательность, которой он сразу подкупил нас.

Мы пригласили его выпить с нами чая. Войдя в палатку, старик снял дошку, сложил ее вдвое и, усевшись на нее возле печки, стал отогревать руки.

– Хорошо съездили? – обратился он ко мне.

– Хорошо, все уладилось, люди нашлись.

– Человек в тайге блудит, а след за ним ходит, – заметил Улукиткан.

– Вы одни? – спросил я его, пока Василий Николаевич разливал по чашкам чай.

– Товарищ есть, Николай Лиханов, он оленей пошел посмотреть, скоро придет. Тоже старик, мы с ним постоянно вместе тайга ходим.

– Как старик?! – удивился я. – Мы же просили Колесова, вашего председателя, выделить вам в помощь молодого парня. Не нашлось, что ли?

– Колхоз люди много, однако, молодой теперь все ученый стал, по книге тайгу учит, а оленью узду не умеет сделать, след зверя теряет... Зато клуб дорога хорошо знает, – ответил сердито Улукиткан.

– Старикам ведь тяжело будет работать, – возразил я.

– Ничего, не беспокойся, я не болею, когда время придет – сразу пропаду. А Николай в тайге лучше молодого.

– Почему у тебя эвенкийское имя, а у Лиханова русское? – спросил я.

– Он родился позже меня больше чем на двадцать лет, ему давали русское имя.

За палаткой послышались шаги, кто-то постучал, сбивая снег ногами, кашлянул предупредительно, распахнув вход, ввалился внутрь.

– Людно стало у нас на косе... Здравствуйте!

– Проходите, садитесь, – предложил Василий Николаевич, освобождая гостю место.

Это был высокий, крепкий старик лет шестидесяти, с плоским скуластым, почти круглым лицом, одетый по-эвенкийски: в дошку, лосевые штаны и лапчатые унты. Тугая и дочерна смуглая кожа только на лбу была пересечена морщинами. Черные глаза, подвижные как ртуть, в одно мгновение осмотрели всех нас. Толстые, вывернутые наружу губы, сверху были опущены мелкой порослью усов. Жиденькая борода из считанных волос в беспорядке торчала по краешку подбородка. Лицо простое, добродушное, на нем как в зеркале отражается покладистый характер старика. Это Николай Федорович Лиханов, наш второй проводник.

Он поздоровался со всеми за руку и тоже уселся возле печки.

– Куда кочевать будем? – спросил Лиханов.

– В верховье Май, к Лебедеву.

– Не поздно, как думаешь? Наледь скоро должна пойти, оленям шибко трудно будет тащить груженные нарты по воде, а проехать туда можно только по реке Купури. Запоздали, что-то боязно трогаться, как бы не застрять где.

– Мы должны ехать, – твердо ответил я ему. – Если не пробьемся на нартах, бросим часть груза на лабазе и уйдем вьючно; если вообще на оленях уже не пройти, уйдем с котомками на лыжах. Понимаю, не время сейчас да еще по рекам путешествовать, но что делать... Нужно.

– Ничего, помаленьку доедем, – вмешался в разговор Улукиткан. – Олени свежие, люди мало-мало здоровые. Если наледей бояться, то от пурги помирать надо.

Мы засиделись до полуночи. Выяснилось, что русло реки Купури в марте обычно заливается наледями. Это время характеризуется большими снегопадами и частыми буранами. Но проводников больше всего беспокоит Джугдырский хребет: трудно будет с груженными нартами подняться на него из-за глубокого снега.

Много рассказывал Улукиткан и про Становой хребет, который нам придется посетить весной, после обследования верховьев Май. Оказывается, в восточной части этого хребта местные эвенки не бывают, и только иногда у подножья гор останавливаются ненадолго пастухи с кочующими стадами колхозных оленей. Скалы, густые стланики сделали горы недоступными для каравана. Охотники при необходимости переваливают хребет далеко западнее, пользуясь другими проходами. Сам же Улукиткан пересекал восточную часть хребта очень давно, примерно в восьмидесятых годах прошлого столетия, еще будучи мальчиком. Он даже не помнит, где именно шел путь.

– Человек мало живет, но постоянно меняется: то маленький, то большой, то старый, а скалы и горы долго живут и всегда одинаковые. Когда Становой придем, я буду кругом ходить, хорошо смотреть, примета искать, потом вспомню, где лежит проход, – говорил Улукиткан односторонне и так убедительно, что мы не могли не поверить ему.

Когда старики ушли, была глубокая ночь. На землю падали пушистые хлопья снега. Порывы жесткого ветра подхватывали их, кружили, сплетали в фантастические узоры и снова бросали на землю. В палатке Геннадий монотонно стучал ключом, заканчивая передачу радиogramм. Я лег, но долго не мог уснуть. Приятно слушать, как злится вьюга, как стонет тайга и воет ветер по старым дуплам. Что-то чарующее есть в этой музыке живой природы. Трудно представить горы, тайгу, море без бури, грозы, грохота обвалов, без плеска волн, шума ручейков, без птичьих песен, рева марала, без гусяного крика в небе. В постоянном сочетании этих звуков и раскрывается большая и широкая жизнь природы.

Василий Николаевич проснулся раньше всех и взялся за приготовление завтрака. По долине гулял буран. Мы поднялись, и первый вопрос: ехать или переждать непогоду? В палатку просунулась голова Улукиткана.

– Худой погода, холодно.

– Что же будем делать? – спросил я.

– Николай ушел за оленями, собирайтесь, лучше по пурге ехать, чем по наледи, так говорили наши старики. – И он, не зайдя в палатку, исчез.

Мы быстро расправились с завтраком, упаковали постели, вещи и, как только пригнали оленей, сняли палатку. Пока укладывали и увязывали груз на нартах, старики поймали и запрягли оленей. Улукиткан вывел ездовую упряжку вперед, привязал к ней свою связку оленей и еще раз сосредоточенным взглядом окинул нарты.

С этого дня, по молчаливому сговору, мы признали его старшим.

Погода продолжала бесноваться. Гнулись стройные ели, цепляясь кронами за корявые сучья тополей. Свистел ветер, унося в пространство потоки снежной пыли. Ничего вокруг не видно.

Караван тронулся.

– Значит, пошли, – сказал Василий Николаевич, облегченно вздохнув, и, не торопясь, зашагал следом за нартами.

Мы пересекли неширокую полосу берегового леса, вышли на марь и взяли направление на северо-восток. Впереди на лыжах Улукиткан вел на поводу оленей. Его сгорбленная фигура часто пряталась за мутной завесой бурана. Обоз двигался медленно. Я ехал позади всех. К моим нартам привязаны собаки Бойка и Кучум. Они еще не привыкли к оленям, и мы вынуждены держать их на привязи.

Ни один вид оленей не приносит такую большую пользу человеку, как северный. Он дает прекрасное мясо, кожу для теплой одежды, постелей, выделки замши. Из оленьих камусов готовится легкая и ноская обувь, из сухожилий – крепкие нитки. Олени выполняют и большие транспортные работы. В условиях тундры и заболоченной тайги этот вид транспорта незаменим и еще долго будет играть значительную роль в жизни колхозов Севера.

В облике домашнего оленя нет ничего гордого, величественного, не то, что у его собрата – благородного оленя. У того голова небольшая, пропорциональная туловищу. Шея недлинная, ноги тонкие, стройные, и эта строгая гармония всех частей тела делает животное удивительно грациозным. Северный же олень приземистый. Его вытянутое туловище держится на коротких ногах, голова почти всегда опущена. Хотя рога у него и достигают иногда огромных размеров, но они отнюдь не украшают его фигуры, а наоборот, делают ее уродливой. Олень, несомненно, носит на себе отпечаток суровой тундры с ее низкорослой приземистой растительностью, и когда глядишь на него, то невольно перед глазами встают необозримые снежные равнины, покрытые блюдцами стлых озер и голыми буграми.

Северный олень отлично приспособлен к условиям скупой и холодной природы. Пищей ему служат едва заметные северные тайнобрачные растения: ягель, чихрица и другие лишайники, мхи – жители тундры, тайги и открытых горных вершин. Но в первой половине лета олень питается зеленью: листьями кустарников, березок, ерников. Своим тонким чутьем он улавливает запах ягеля даже под глубоким снежным покровом.

Разрывая снег копытами, олень достает корм. Если же под ногами нет ягеля, то ищет на деревьях другие лишайники, обычно свисающие с веток в виде длинных косм. Домашний олень весь год на подножном корму. Длинная шерсть с необычайно густым подшерстком служит надежной защитой от очень низкой температуры и холодных ветров. В способности же передвигаться по глубокому снегу северный олень не имеет себе равных. Взгляните на его копыта: их подошвенная площадь почти вдвое больше, чем у любого другого вида оленей. Причем во время бега копыта могут широко раздвигаться, увеличивая площадь опоры, и животное не проваливается глубоко даже в сухом сыпучем снегу.

Пожалуй, ни один вид парнокопытных животных не может поспорить с северным оленем и в выносливости. Олень прекрасно уживается на высокогорьях юга Сибири, в тайге и на Крайнем Севере, где граница его распространения доходит до Ледовитого океана. Трудно представить себе и более быстрое животное в упряжке. Закинув рога на спину и вытянув свою

длинную голову, олень летит как ветер. Нарты едва касаются дороги, только снег брызжет во все стороны из-под копыт, густой белый пар, как легкое облачко, вылетает из ноздрей, окутывая морду оленя. И, кажется, нет ему устали.

Мы медленно подвигаемся вперед, пробиваясь сквозь непогоду. Проводники изредка перебрасываются короткими фразами, после чего обычно караван сворачивает вправо или влево и продолжает путь. Удивительно, как старики угадывали направление! Мы ехали без дороги, вокруг в белесой мгле ничего не видно, но это, пожалуй, вовсе не волновало проводников. Они все чаще покрикивали на оленей и не проявляли сколько-нибудь заметного беспокойства.

Только к вечеру метель стихла и сквозь поредевшее облако показались кусочки голубого неба. Ночевать спустились к реке. Это была первая наша остановка на данном пути, и мы с удовольствием принялись за устройство лагеря: утаптывали снег, выстилали пол хвоей, натягивали на жерди палатку. Через час уж дымилась печь, и, готовя ужин, возле нее суетился Василий Николаевич.

Вечерело. Медленно угасали последние розовые блики на макушках береговых елей. Из боковых ущелий мягко выползала ночь и, пробираясь бесшумными шагами, прикрывала долину тяжелой тенью. Где-то на мари пугливо прокричала куропатка. После бури крепко спал старый лес, не колыхался воздух, но вверху порывисто шумел ветер, будто полчище невиданных птиц проносилось над нами.

– Однако мороз будет, много звезд на небе, все играют, – сказал Улукиткан, пролезая в палатку.

За ним показался и Николай Федорович. Гости уселись в дальнем углу, и Василий Николаевич стал угощать их чаем.

«Вот он, свидетель далекой старины, – думал я, поглядывая на сидящего рядом Улукиткана. – Таких, как он, остается все меньше и меньше. Они уходят из жизни, унося с собою историю и веками накопленный опыт своего народа». Тем более росло желание расспросить старика о жизни эвенков, когда они вели кочевой образ жизни.

Улукиткана не пришлось много спрашивать. Вероятно, ему самому было интересно воскресить в памяти прошлое, и он охотно согласился поделиться с нами своими воспоминаниями.

В палатке было тепло. Чаепитие тянулось долго. Старики, видно, любили понежиться за чаем. Пили медленно, громко втягивая сквозь сжатые губы, и изредка перебрасывались между собой короткими фразами.

– Спасибо, напился. От крепкого чая, что от доброго слова, сердце мякнет, – сказал, наконец, Улукиткан. Он стряхнул в чашку хлебные крошки, туда же вылил из блюдца недопитый чай, все перемешал и выпил.

Свое повествование старик начал без увлечения, но постепенно разговорился.

– Раньше старики так думали: эксери<sup>13</sup> дал эвенкам оленей таскать груз, кормить их мясом, одевать в шкуры, а бабу дал родить детей, обшивать мужа, варить обед, пасти стадо. За нее никто не должен был работать, за бабу тогда платили большой выкуп. Муж только охота знал да ругал жену, что плохо ведет хозяйство, – не торопясь, рассказывал Улукиткан.

Когда бабе приходило время рожать, она делала себе в стороне от становища маленький чум, люди не должны были слышать, как ревет баба в маленьком чуме. Такой дурной обычай был. Трудно было тогда эвенку достать кусок материи. Мать вытирала ребенка сухой мелкой трухой от старого пня, обкладывала мхом, заворачивала в кабарожью шкурку и приносила в большой чум. Если на пупке долго не сохла кровь, прикладывали серу или присыпали золой

---

<sup>13</sup> Эксери – Бог (эвенк.).

из трубки. Крикливого ребенка купали в снегу, чтобы он лучше спал. В такое время родился и я. Это было после зимы, у белки уже появились щенки, и мать назвала меня Улукиткан<sup>14</sup>...

Ворон где труп найдет, там и живет. Мы тоже раньше так: где отец зверя убьет, там и ставили свой чум. Только не всегда ему удача была. Другой раз долго в котел не клали мяса, лепешки не было, масло, сахар совсем не знали.

Отец слышал, что у лючи<sup>15</sup> есть белый камень, когда положишь его в рот, он, что твой снег, тает, язык к губам липнет, как еловая сера, а слюна делается слаще березового сока! У купца он сам тогда видел холодный огонь и рассказывал, что его можно носить долго в кармане, а когда он станет горячим, от него зажигается трубка, береста, дрова – так о спичках тогда говорили. Один раз он возил меня далеко в соседнее становище, чтобы показать зеркальце. Чудно было: всего с ладонь, а вмещает больше чума. Смотришь в него, а видишь все, что сзади тебя. Хозяин шибко радовался, обманул купца – за два соболя выменял зеркальце! Так было, это правда...

Когда я уже умел сгонять ножом тонкую стружку с палки и сидеть на олене не привязанным к седлу, это было время ледохода<sup>16</sup>, мы стали кочевать к Учурской часовне<sup>17</sup>. Хорошо аргишать<sup>18</sup> на ярмарку, когда в турсуках<sup>19</sup> много соболиных, беличьих шкурок. Радовались, все думали, какой покупка делать будем, – и то надо и другое. Не было припаса, ружья доброго, муки, котла. Все хотели купить. Пушнины хватит, два года собирали. Приехали на ярмарку, купцы-якуты хорошие кажутся – ведь по короткому лаю собаку от лисы не отличишь сразу. Вином угощали, хорошо разговаривали, пушнину даром не брали, все меняли: за иголку – белку, за крест – колонка, за топор – соболя, за икону – доброго оленя. Им доход, эвенку диво, и оленям хорошо, возить в тайгу нечего!

Поп ходил по всем чумам, проверял, у кого нет креста, в прорубь таскал крестить. Эвенки ему выкуп носили: кто соболя, кто лису. От хороших подарков размяк поп, как снег от майского солнца. Не таскал в воду, крестил в чуме. Мне сказал: тебе имя Семен. Но мать говорила: какой ты Семен, ты Улукиткан!

Разошлась пушнина за вино, за зеркальца, за бисер. Ясак<sup>20</sup> уплатили, богу дали маленько – он тоже любил соболей – и в тайгу ушли, когда лиственница зеленеет<sup>21</sup>. Ушли легко. Только обидно было. Как так получилось: будто все купец считал правильно, белки даром не брал, а турсуки наши остались пустыми? Мать шибко ругала отца, почему ни муки, ни котла, ни куска материи не брал. Он говорил: ничего, бог лючи нынче обещает хороший промысел, опять приедем ярмарку, купим. Да только не так случилось. Если кремня нет, сколько ни бей кресалом по языку, огня не добудешь. Обманул бог, тайга сильнее его...

У старика оборвался голос низкой печальной нотой. Наступила тишина. Кто-то поправил свечу, Василий Николаевич подобросил в печку дров. Из-за ближнего леса луна осветила палатку.

Рассказчик смочил горло холодным чаем, поправил под собою дошку, свернутую комом, и заговорил медленно и еще более грустно. Он рассказал, что на другой год по тайге прошел страшный мор. Это было немного раньше восьмидесятых годов прошлого столетия. У чумов

---

<sup>14</sup> Улукиткан – Бельчонок (*эвенк.*).

<sup>15</sup> Лючи – русский (*эвенк.*).

<sup>16</sup> Май.

<sup>17</sup> Учурская часовня была выстроена еще в прошлое столетие на реке Учур, выше среднего течения; распространяла среди эвенков православие. Близ часовни ежегодно открывалась ярмарка. Из далеких и глухих мест приезжали эвенки, чтобы продать купцам пушнину, изделия и купить продукты, припасы.

<sup>18</sup> Аргишать – кочевать.

<sup>19</sup> Турсук – сумка.

<sup>20</sup> Ясак – натуральный налог (пушшиной).

<sup>21</sup> Лиственница зеленеет в июне.

валялись трупы оленей, погибли звери и птицы. Леса на огромном пространстве оказались опустошенными. Эвенки бежали с насиженных мест в далекие соседние районы. В пути падали олени, терялись люди, жирели собаки, воронье. Семья Улукиткана уходила за Становой. От стариков они слышали, что за хребтом есть река Эникан<sup>22</sup>, богатая рыбой и зверем. Нужно было перевалить большие горы. Но где найти перевал? Везде проходы завалены россыпями, сдавлены скалами и крепко заплетены стлаником. Шли наугад, питались травой, корнями. Отец заболел и остался на реке Мулам, где пал последний олень. Семья ушла, не дождавшись развязки. Старику дали небольшой кусок самула<sup>23</sup>, половину сыромятной узды от павшего оленя да на три дня запасли дров для костра. С ним была старая собака. Что случилось с ними, никто не узнал. На второй день на поляне, где оставили отца, уже не дымился костер. Не догнала семью и собака. Улукиткан с матерью и сестрой после долгих поисков прохода все же вышли на хребет.

– Тогда только я и переходил Становой, это было шибко давно, – продолжал рассказывать Улукиткан, напрягая свою память. – Когда мы вышли на хребет, в это время сохатый терял жир<sup>24</sup>, там нашли много мангесун<sup>25</sup>, хорошо кушали, только это и помню, а где лежал перевал, совсем забыл. Не думал остаться живым, смерть так держала меня, – и он растопырил руки, словно коршун крылья, впился костлявыми пальцами в свои сухие бока. – Так крепко! Она хотела меня кончать, а я не хотел, ходил дальше. Спустился к Эникану – увидели след кабарги, сделали там каменный балаган и начали опять жить...

Старик заметно уставал. Голос его все чаще обрывался, а раздумье было более глубоким. Но, передохнув, Улукиткан снова начинал рассказывать о том, что горе, перенесенное эвенкийской семьей через Становой, еще долго продолжало жить с ней в каменном балагане. Не было оленей, одежды, припасов, даже куска ремня, из которого можно было бы сделать тетиву для лука-самострела. И все же тринадцатилетний Улукиткан не сдался. Началась длительная борьба за жизнь, за кусок мяса и шкуру. В лесу появились кабарожьи ловушки, пасти<sup>26</sup> на зайцев. В реке семья добывала рыбу. Но Улукиткан был еще слишком молод, чтобы противостоять нужде. Не выдержал и ушел с семьей в батраки к кулаку Сафронову, занимавшему тогда своим трехтысячным стадом оленей верховья Май с ее притоками: Чайдах, Кукур и Кунь-Манье.

– Стадо пасли на Большом Чайдахе, – продолжал старик после очередной паузы. – Однажды я нашел след, долго смотрел и думал: это какой люди тут ходи, раньше такой след не видел? Мать сказала: тут лючи был, его носит такой большой олучи<sup>27</sup>, тяжелый, как зимняя котомка. Через день лючи пришел в наш чум с проводником. Он золото искал. «Ты что так смотришь на меня?» – спросил он. «Моя раньше лючи не видел». – «Понравился?» – «Нет, – говорю. – Твое лицо совсем другое, узкое, все равно что у лисы, нос острый, однако шибко мерзнет зимой, а глаза круглые, как у филина. Ты, должно, плохо днем видишь. Твоя люди некрасивый».

Лючи смеялся. Он хороший был человек. Его палатка долго стояла рядом с нашим чумом. Он говорил мне, что далеко внизу Зея есть большой стойбище, там люди золото копают, шибко звал меня туда. Да как ходить без своих оленей? Бедняку хорошая тропа – хуже болота...

Три года пасли оленей. Стадо разрослось, работы было много. Но скоро умерла мать. Тогда говорили, что пропадает только тело, а душа кочует в другой мир и там ждет. Когда тела не станет, она вернется на землю и поселится к бальдымакту<sup>28</sup>. По тогдашнему обычаю покойника клали в долбленое корыто и поднимали высоко на деревья. Люди не должны были

<sup>22</sup> Эникан – мать; так называлась у эвенков тогда Зея.

<sup>23</sup> Самул – сухая кровь.

<sup>24</sup> Сохатый теряет жир во второй половине сентября, в период гона.

<sup>25</sup> Мангесун – лук.

<sup>26</sup> Пасти – ловушка из бревен.

<sup>27</sup> Олучи – легкая летняя обувь из лосины.

<sup>28</sup> Бальдымакт – новорожденный (*эвенк.*).

оставаться жить в таких местах: нельзя было своим присутствием беспокоить покойника. Мы с сестрой собрали оленей и ушли со стадом на Кукур, к хозяину Сафронову. «Я больше работать не могу, нас осталось двое, стадо большое, силы не хватает, давай расчет», – сказал я. «Какой тебе расчет? Будем стадо считать, потом посмотрим, кто кому должен». Считали. Он говорит: «Тебе за работу надо отдать тридцать оленей. Верно?» – «Верно». – «Ты потерял моих пятьдесят, верни двадцать или отработай». – «Как так, стадо наполовину больше стало, почему обманываешь?» – «Не могу считать молодой олень, – говорит, – так не договорились».

Долго спорили, напрасно пальмой<sup>29</sup> воду рубили. Волк от голоду воеет, а кулак – от жадности. Я говорил ему: «Твой жирный брюхо много чужой олень лежит, клади и мои». На двадцать олень давал ему расписку и ушел...

– Какую же ты мог дать расписку, если был неграмотный? – перебил его Василий Николаевич.

– Эвенкийский расписка была другая, деревянная, так делали ее, – Улукиткан, достав нож, стал выстругивать четырехгранную палочку.

Лицо вдруг стало сумрачным, губы стиснулись, между поседевшими бровями врезались складки раздумья. Расчеты с кулаком Сафроновым он помнил со свежестью вчерашнего дня, – так глубоко запала обида.

Из его слов мы узнали, что своеобразный долговой документ выстругивается из крепкого прямослойного дерева, квадратной формы, длиной примерно десять-двадцать сантиметров, в зависимости от величины долга. На одной стороне палочки делалось столько зазубрин, сколько, скажем, оленей давалось в долг. На нижней стороне грани, под зубцами, вырезались с одного конца олень, с другого – клеймо должника – крестик, веточка, рог или след. Затем палочку раскалывали так, чтобы зубцы, клеймо и олень разделились примерно пополам. Одна половина оставалась у продавца, вторая у должника. Когда же происходили расчеты, хотя бы частично, половинки соединялись и срезалось столько зазубрин, сколько возвращалось оленей или за сколько оленей уплачивалось.

До смешного наивной кажется эта деревянная расписка, но она лишний раз подтверждает житейскую честность лесных кочевников.

Улукиткан унес от Сафронова половинку расписки с двадцатью зубцами. Долго скитался он с сестрой по чужим, незнакомым горам. Ветер показывал путь, роса смывала их след. Лишь на реке Джегорма они встретили первую семью кочующих эвенков. Им отвели место в чуме, в общий котел клали на них мясо, рыбу, дали шкуры починить олочи, – кажется, о большем тогда и не мечтал эвенк. Сестра вышла замуж и осталась в этой семье. А Улукиткан решил вернуться за хребет к родным местам на реку Альгома, где провел детство и где, казалось ему, природа щедра к человеку. Да только и там не нашел счастья, пока не пришла новая власть...

Старик, умолкнув, сидел в темном углу, совсем маленький, ссутулив плечи и сгорбив костлявую спину. Его сухие губы беззвучно шевелились. Видно, быстрокрылая мысль все еще была в прошлом. Но вот он нащупал перед собою чашку, поднес ее ко рту, и в горле хлюпнул тяжелый глоток. От чайного пара размякли морщинистые скулы, посветлели усталые глаза.

– Однако, довольно, еще много ночей впереди... Спать пойдём...

Восход солнца застал нас в пути. Впереди на упряжке Улукиткана монотонно поют колокольчики. Олени бегут натужно, долго. День теплый, в пути хорошо.

У покинутой нами стоянки, кажется, заканчивается широкое ложе Зейской долины. Горы с той и другой стороны заметно сближаются, река глубже зарывается в землю, образуя как бы узкую промоину, обставленную чередующимися обрывами.

В тот же день мы добрались до устья Купури. Там, где эта река впадает в Зею, высятся с двух сторон береговые скалы. Ими обрываются невысокие залесенные отроги, пропуская, как

<sup>29</sup> Пальма – длинный нож с метровой деревянной рукояткой, заменяющий топор.

в ворота, воду, собранную с большой территории, ограниченной с севера Становым, с востока Джугдырским хребтами. Междуречье близ слияния этих горных рек представляет пониженную местность с мелкосопчатым рельефом, переходящим дальше в высокогорный.

Пожалуй, тревога наших проводников относительно наледей напрасна. Речной лед, по которому мы едем, слегка запорошен сухим снегом, нарты скользят легко, и лучшей дороги не придумаешь. Да и погода нам благоприятствует: тихая, солнечная.

К концу третьего дня мы достигли устья Лучи – левобережного притока Купури. По пути, кроме береговых возвышенностей, мы ничего не видели и не имели представления о местности, которую пересекали. Продолжать путь вслепую было неинтересно, поэтому вечером, как только все хлопоты по устройству лагеря были закончены, я поднялся на ближнюю сопку, чтобы осмотреться. До темноты оставалось часа полтора.

На юг от меня, за реками Купури и Лучи, раскинулась гористая местность с широкими падами и пологими однообразными сопками, перемежающимися низкими седловинами. Склоны покрыты редким лиственничным лесом, и только далеко, километров за двадцать от нашего лагеря, на Аргинской водораздельной гриве виден хвойный лес, вероятно, сосновый. Горизонт же на северо-западе заполнен высокими гольцами, прочесанными последними лучами заходящего солнца. То, видимо, Оконоекий гольц, им заканчивается один из мощных южных отрогов Станового хребта.

Хорошо на горе, неохота уходить. Затухает бледная заря. Одинокое облачко, словно волшебный корабль, медленно плывет под звездным небом. И вдруг какой-то протяжный звук, напоминающий флейту, доносится из глубокого лога. Я прислушиваюсь и неожиданно улавливаю такой же звук уже с противоположной стороны. Но это не запоздалое эхо, не крик филина, предупреждающий о наступающей ночи. В звуках было что-то тоскливое, отягощенное безнадежностью. Так и не разгадав, что это, я вернулся в лагерь.

Мартовские ночи длинные. Вечерами мы обычно собирались в нашей палатке и подолгу пили чай. Времени хватало поговорить и выспаться. Едва я разделся и присел, как послышалось повизгивание собак, привязанных к нартам. Коротко тьякнул Кучум. Проводники встревожились.

– Кто-то чужой близко ходит, – сказал Улукиткан и стал поспешно натягивать на себя дошку.

Мы вышли из палатки. С нагретых мест соскочили собаки. Они стояли во весь рост, всматриваясь в темноту и настороженно шевеля ушами.

– Отвязать надо, – сказал я.

Улукиткан схватил меня за руку.

– Пускать нельзя, подожди, надо узнать, кто ходит...

Вдруг из темноты послышался отвратительный вой волка.

Он разросся в целую гамму какого-то бессильного отчаяния и замер в морозной тишине высокой жалобной нотой. Эхо внизу повторило голодную песню. Не успело оно смолкнуть, как до слуха донесся шум. Он увеличивался и ураганом несся на нас из леса. Вот мелькнул один олень, второй, третий – мимо бежало обезумевшее от страха стадо.

Василий Николаевич и Геннадий бросились наперерез, пытаясь задержать оленей. Следом за ними, спотыкаясь, бежал с поднятым кулаком Николай Федорович. А шум быстро отдалялся и вскоре заглох далеко за лесом.

– Эка беда, – говорит Улукиткан, неодобрительно покачивая головой. – Какой худой место остановились ночевать...

– Я, кажется, слышал на сопке, как выли волки, но не догадался.

– Почему не сказал? Надо иметь привычка: что не понимаешь, спрашивать. Мы бы непременно олень караулили, – упрекнул меня старик, продолжая всматриваться в темноту.

Я стал разжигать костер. Бойка и Кучум все еще продолжали посматривать в сторону левого бережного лога, откуда донесся вой. Они тянулись туда, нервно визжали и изредка поглядывали на нас, как бы говоря: неужели вы не слышите, что там делается?

– Давай отпустим собак, – настаивал я.

– Нельзя, – забеспокоился старик. – Они уйдут за стадом, а пуганые олени собаку от волка не отличают, далеко убегут.

Из-за макушек елей выглянула луна, и тотчас заметно посветлело. Бойка и Кучум, видимо, доверились тишине, улеглись спать.

Наши вернулись без оленей.

– Что делать будем? – спросил я Улукиткана.

– Немножко спать, потом стадо догонять пойдем. Олень быстрый, далеко уйдет, но след от него не отстанет.

За время нашего отсутствия в палатке потухла печь. Василий Николаевич подбросил стружки, сушняка, и огонь ожил. Мы долго не спали, разговорились о волках...

Плохо волку зимою, нечем поживиться, а голод мучит! Жизнь серого бродяги безрадостна – словом, волчья жизнь! Даже детством ему не похвалиться. Волчица не балует детей лаской. Как только у щенков прорезаются глаза, мать начинает воспитывать в них будущих хищников. Горе волчонку, если он в драке завизжит от боли или проявит слабость, волчица безжалостна к нему. Она будто понимает, что только терпеливый, жестокий и замкнутый в своих стремлениях зверь способен к борьбе за существование. Может, поэтому волк с самого детства и бывает откровенен только в своем бешенстве, доброе же чувство никогда не проявляется у него даже к собратьям. Достаточно одному из них пораниться или заболеть, как его свои же прикончат и съедят.

Ляжет на землю зима, заиграют метели, и с ними наступает голодная пора. Зимой волку невозможно пропитаться в одиночку. Не взять ему сохатого. Да и зайца трудно загонять одному. Звери соединяются и стаей рыщут по тайге, наводя страх на все живое.

В волке постоянно борются жадность и осторожность. И надо отдать справедливость хищнику, он умеет пользоваться этими врожденными качествами. Посмотрите, как осторожно идут волки вдоль опушки леса. Стаю ведет матерый волк против ветра – так он дальше чует добычу или скорее разгадает опасность. Все идут строго одним следом, и трудно угадать, сколько же их прошло: три или пятнадцать, – так аккуратно каждый ступает в след впереди идущего собрата. Поступь у всех бесшумная; глаза жадно шарят по пространству, задерживаясь на подозрительных предметах, а уши подаются вперед, выворачиваются, настороженно замирают, улавливая тончайшие звуки. При остановке зверь пружинит ноги, готовые при малейшей опасности отбросить в сторону короткий корпус или нести его вдогонку за жертвой.

Копытного зверя волки гоняют сообща, не торопясь. Пугнут и рысцой бегут его следом. Снова пугнут и так сутки-двое не дают жертве отдохнуть и покормиться. Чем сильнее животное поддается страху, тем быстрее оно изматывает свои силы и напрасно ищет спасения в беге.

Едят волки много, жадно. Путешествуя зимой по Подкаменной Тунгуске, мы с Василием Николаевичем однажды наткнулись на останки растерзанного сохатого. Немного поодаль отдыхала волчья стая, только что закончившая пир. Заметив нас, хищники бросились наутек. Мы преследовали их на лыжах. Завязалась интересная борьба. Хотя снег был мелкий, обожравшиеся звери шли тяжело. Расстояние между нами упорно сокращалось. Наступил час расплаты. Василий Николаевич сбросил с плеча ружье и стал обходить волков справа, а я наступил их слева. Казалось, еще одна-две минуты, и они сдадутся. Но звери, почуяв смертельную опасность, на бегу стали отрывивать куски мяса, очищать кишечник от непереваренной пищи. Облегчившись, они легко ушли от нас.

Волки способны длительное время следовать за кочующим стадом домашних оленей. Осторожность никогда не покидает их. В ожидании удобного момента для нападения они

способны проявлять удивительное равнодушие к голоду. Задремлет пастух, не дождавшись рассвета, и волки близко подберутся к отдыхающим оленям. Взметнется стадо, да поздно. Падают олени, обливая снег кровью, и тогда нет предела жадности хищника. Иногда, убив несколько десятков животных, стая уходит, не тронув ни одного трупа, будто все это они делают ради какой-то скрытой мести. У человека всегда живет чувство непримиримого отвращения к волку...

Рано утром от палатки проводников в тайгу убежал лыжный след. Он отсек полукругом лог, где вечером паслись олени, прихватил километра два реки Купури ниже лагеря и вернулся к палатке. Мы уже встали и были готовы идти на розыски.

– Проклятый волки, два оленя кончал, – гневно сказал Улукиткан, сбрасывая лыжи и растирая варежкой пот. – Они, однако, идут нашим следом, надо хорошо пугать их, иначе не отстанут.

Старик торопил всех и сам спешил. Я с ним пошел к убитым оленям, а остальные отправились следом за убежавшим стадом.

Солнце яичным желтком вылупилось из-за шершавых сопок. Мы пробрались к вершине лога. От быстрой ходьбы у Улукиткана покраснелось лицо. Едкий пот слепил ему глаза. Вязки на дошке распустились, и по краешку реденькой бородачки оседал колючий иней.

Олени лежали рядом, друг возле друга, недалеко от промоины. У разорванных ран ноздреватой пеной застыла кровь. Трупы оказались не тронутыми волками, видимо, что-то помешало их пиру.

– А нельзя ли устроить ночную засаду? – спросил я.

– Волки голодный, однако, далеко не ушли, может, придут, надо караулить, – согласился старик.

Только к вечеру собрали стадо. Но и это было удачей. Пожалуй, ни одно животное так не боится волков, как олени. Страх делает их совершенно бессильными к сопротивлению, и они ищут спасения лишь в бегстве. Случись такое летом, нам бы ни за что не собрать стадо.

Чем больше я присматривался к Улукиткану, тем сильнее крепла моя привязанность к нему. Чего бы, кажется, в эту ночь не отдохнуть ему? Так нет, напросился в засаду. Не может оставаться равнодушным ко всему, что заполняет теперь нашу жизнь.

Одеться нужно было потеплее: в пятнадцатиградусный мороз трудно просидеть ночь на открытом воздухе да еще без движения. Старик заботливо завернул ноги в теплую хаикту<sup>30</sup>, надел меховые чулки и унты, а поверх натянул мягкие кабарожьи наколенники. О ногах позаботился, а грудь оставил открытой, рубашки даже не вобрал в штаны.

– Куда же ты идешь так, замерзнешь! – запротестовал я.

Улукиткан вскинул на меня удивленные глаза.

– В мороз ноги надо хорошо кутать, а грудь сердце греет.

Он перехватил грудь вязками дошки, затолкал за пазуху варежки, спички, трубку, бересту, и мы покинули палатку.

Промоина оказалась хорошим укрытием для засады. Наше присутствие скрывали заиндевевшие кусты, а в просветы между ветками были хорошо видны трупы животных и вершина широкого лога.

– Ты будешь дежурить с вечера или под утро? – спросил я старика, зная, что одному высидеть ночь тяжело.

– Нет, моя плохо видит, стрелять ночью не могу.

– Зачем же шел?

– Тебе скучно не будет...

---

<sup>30</sup> Хаикта – волокна жимолости (эвенк.).

Улукиткан уселся на шкуру, глубоко подобрал под себя ноги и, воткнув нос в варежку, задремал. Я дежурил, прильнув к просвету.

Время тянется лениво. Гаснет закат. Уплывают в безмятежную тьму нерасчесанные вершины лиственниц и мутные валы далеких гор. В ушах звон от морозной тишины. Мысли рвутся, расплываются... А волки не идут, да и придут ли?

Хочется размять уставшие ноги, но нельзя: зверь далеко учует шорох.

– Ху-ху-ху, – упал сверху звук.

Я вздрогнул. Над логом пролетела сова, лениво разгребая крыльями воздух. Следом про шумел ветерок. Пробудившийся старик поудобнее уселся, сладко вздохнул – и снова тишина.

Запоздалая луна осветила окрестность холодными лучами. Сон наваливается свинцовой тяжестью, голова падает.

Вдруг волчий вой разорвал тишину и расползся по морозной дали. Острый озноб пробежал по телу. Не поворачиваясь, я покосился на срез бугра, откуда донесся этот отвратительный звук. Там никого не было видно. Неужели учуяли?

Ждать пришлось долго. Наконец справа над логом внезапно появилась точка, похожая на пень. Она исчезла раньше, чем можно было рассмотреть ее. «Кажется, волк», – промелькнуло в голове. Я подтянул к себе винтовку.

Такая же точка появилась и исчезла слева, на голом склоне бугра. Видимо, звери рассматривали местность. У падали они очень осторожны, даже голод бессилён заставить их торопиться.

Медленно тянулись минуты ожидания. Казалось, что время прекратило свой бег. Но вот до слуха донесся осторожный шорох. Из тени лиственниц выступил волк. Его видно хорошо. Освещенный луною зверь стоял один вполборота ко мне. Его морда была обращена в глубину ущелья, где прятался наш лагерь. Стоял он долго и казался пнем. Затем волк медленно повернул голову влево и, не взглянув на трупы, посмотрел через меня куда-то дальше.

Я чувствовал, как нетерпеливо стучит мое сердце. С трудом сдерживал волнение. А волк, бросив последний взгляд в пространство, вдруг вытянулся и, слегка приподняв морду, завыл злобно и тоскливо.

Что это? Тревога?... Нет, зверь стоял спокойно и тянул до того мерзко, нудно, что невольно по телу пробежали мурашки. Из-за лиственниц появились, как тени, один за другим пять волков. Они выстроились по следу переднего и, поворачивая голову, осматривали лог.

Ничто не выдавало нашего присутствия, и хищники осторожно двинулись вперед, часто задерживаясь и прислушиваясь. Ближе всех был самый матерый. Вот он подскочил к трупу оленя и внезапно замер, повернув свою лобастую морду в мою сторону. Заметил! Пора...

Вспыхнул огонек. Раскатистый выстрел хлестнул по логу и эхом пронесся по долине.

Волк высоко подпрыгнул и в бессильной злобе схватил окровавленной пастью снег. Остальные бросились к лиственницам. Я послал им вслед еще пару выстрелов.

– Хорошо, шибко хорошо стреляй! – закричал старик и полез через борт промоины. – А, проклятый, кушай больше не хочет?

Выстрел поднял на ноги жителей лагеря, там вспыхнул костер. Мы притащили волка на стоянку. Больше всех были удивлены наши собаки. Они впервые видели волка, морщили носы, проявляя сдержанное пренебрежение.

Рано утром мы покинули негостеприимную стоянку. На утоптанном снегу остались нарты от погибших оленей и туша ободранного волка. Наш маршрут теперь шел на север по ущелью Купури. Дни стояли солнечные, и путь не казался однообразным. Проводники торопились.

Ущелье все больше сужалось. Ближе подступали к нему высокие горы, сбрасывая на дно лощины потоки угловатых камней и перегораживая реку полуразрушенными скалами. Мы, как в лабиринте, пробирались меж высоких стен, исчерченных следами былых разрушений. Хотя солнце и поднялось, но в ущелье сумрак, кое-где прорезанный полосами яркого света,

прорвавшегося сверху. От россыпей, вечно холодных и угрюмых, веяло промозглой сыростью. Неприветливо в этой каменной щели. Хорошо, что часто попадался лес, – он освежал мрачный пейзаж.

– Моод... моод... – слышался подбадривающий окрик Улукиткана. Олени, однообразно стуча копытами, легко бежали по льду, запорошенному снегом.

Солнце подбиралось к полудню. За очередным поворотом совершенно неожиданно показался темный, как вечернее небо, лед, перехвативший бугром ущелье. Олени Улукиткана выскочили наверх, но не удержались и стали сползать. Они путались в упряжках, падали, вскакивали, бились головами о лед, а следом за ними скатывался и сам старик. Пытаясь удержаться на скользком льду, он быстро перебирал ногами и беспомощно махал руками. Мы бросились на помощь.

Темный лед тянется и дальше за поворотом. Он почти прозрачный и такой гладкий, будто его поверхности коснулась рука полировщика. Это наледь, но уже замерзшая. Ее выпучило буграми, прорвало. Местами образовались глубокие трещины. Оленям по ней не пробраться, а обойти негде: справа россыпь, слева густой ельник, сбегаящий к наледи по крутому склону.

Василий Николаевич отправился вперед искать проход. Общими силами поднимаем нарты на ледяную трассу и волоком вытаскиваем туда же оленей. Они совершенно беспомощны на льду.

– Нужно торопиться, вода идет, может затопить! – издали кричит Василий Николаевич.

– Плохо, если вода. Очень плохо, – забеспокоился Улукиткан. – Как пойдём?

У всех на лицах минутная растерянность. «Кажется, начинается то самое, чего мы ожидали и боялись», – подумал я.

Перетаскиваемся к ельнику и решаем прорубить в нем проход. Дружно стучат топоры. Узкая просека, обходя валежник, камни, петляет по темной чаще леса. Почти три часа потратили на прокладку дороги.

Вернувшись к оленям, наскоро пьем чай, увязываем покрепче груз и трогаемся. Впереди на лыжах идет Улукиткан, ведя на длинном ремне пару лучших оленей, запряженных в порожнюю нарту. За ними – нарты с легким грузом, а затем и остальные. На просеке лежит метровый снег, как песок.

– У-юю... у-юю... – беспрерывно слышится крик Улукиткана.

Вся тяжесть прокладки дороги ложится на переднюю пару оленей. Они по брюхо грузнут в снег, продвигаются прыжками, сбивают друг друга, падают. Легче идут вторая и третья пары. Сзади беспрерывно слышится крик:

– Стой... стой...

Нарты то и дело переворачиваются на косогоре, цепляются за колодник, пни. Часто рвутся ремни. Идем все медленнее. Олени дышат тяжело, падая, уже не встают без понуканий.

Вечереет... Мороз сушит слегка размягший за день снег. От россыпей несет застойной сыростью. Стайки синиц торопливо летят в боковое ущелье, видно на ночевку.

Мы на краю просеки. Впереди по льду ползет кисельной гущей снежница. Улукиткан устало склонился на посох, а зоркие глаза пытливо обшаривают ущелье.

– Сколько не стой, а наледь назад не пойдет, – говорит он и начинает тормозить оленей, которые вповалку лежат на снегу.

При взгляде на животных сжимается сердце. Не верится, что они еще способны продолжать путь. Устали и люди, но задерживаться нельзя, наледь упорно поднимается, к тому же поблизости нет корма для оленей и палатку поставить негде. Благоразумие берет верх. Мы покидаем ельник.

«Что ждет нас за первым поворотом? Где кончается наледь? Будет ли у нас сегодня ночевка?» – эти мысли беспокоят меня. Мы должны идти вперед, навстречу препятствиям,

ибо с каждым днем их будет все больше и больше. Но любую ценой нам нужно добраться до района работ.

Олени, низко опустив головы, осторожно шлепают ногами по холодной воде. Скрипят размокшие лямки, шуршат полозья, прорезая густую снежицу. Нарты кренятся, ныряют в ямы, как лодка в волнах. Вода захлестывает груз, затягивает ледяной коркой ящики, тюки. Идем очень медленно и тяжело. Луна запаздывает, в ущелье темно. Ни гор, ни берегов не видно, будто все провалилось и осталась только почерневшая наледь.

Олени все чаще останавливаются передохнуть, но проводники энергичным криком напоминают уставшим животным об опасности, и те покорно тянут нарты дальше. У меня промокли унты, ноги мерзнут, нет сил терпеть, а конца пути не видно. Встречный ветер обжигает лицо, и чудится: он несется от далеких гор, куда устремлены наши желания.

Но вот впереди посветлело. Между расступившимися отрогами обозначилась долина, затемненная снизу лесом. Тут-то и закончилась наледь, вытекавшая из боковой лоцины.

Мы выезжаем на сухой лед, радуемся, – теперь, кажется, можно отдохнуть и погреться. Обоз останавливается на краю леса, в русле реки. Час ночи.

Распряженные олени не идут кормиться, ложатся. Улукиткан ласковым голосом поднимает их и угоняет в темноту. Мы разжигаем костер, утаптываем снег, ставим палатки. Хочется скорее выпить чашку чая, забраться в спальный мешок и уснуть.

Василий Николаевич еще долго хлопочет по хозяйству. Он сделал подстилку собакам, настрогал щепок, чтобы утром разжечь печь. Какие-то неясные звуки доносятся из палатки проводников. Но скоро все стихает.

Меня разбудил вой Бойки. И тотчас раздался голос Василия Николаевича:

– Поднимайтесь, вода!

Выскакиваем. Геннадий зажигает свечку. Снег в палатке потемнел. Под печкой течет вода. Одеваемся, свертываем постели, собираем вещи. Василий Николаевич уже рубит лес.

– Нарты пропадай! – кричит Улукиткан, и слышно, как он шлепает ногами по размокшему снегу.

За горами сочится рассвет. Густая наледь, прорвавшаяся по Купуринскому ущелью, грозной лавой ползет через лагерь, заливая правым крылом боковое ущелье и отрезая нам путь к береговым возвышенностям. Олени остались где-то на противоположном берегу. Привязанные к кустам собаки визжат, взывая о помощи. Геннадий держит в руках батареи от рации, не зная, куда их положить, – кругом вода. Улукиткан беспомощно хлопочет возле груза, пытаясь развязать заледневшие узлы веревок.

Мы с Лихановым бросаемся на помощь Василию Николаевичу. Делаем настил на четырех пнях и сообща перетаскиваем на него палатки, постели собак. Нужно немедленно спасти груз, иначе образовавшийся возле нас затор прорвется и унесет его вместе с нартами. Но вода уже так поднялась, что заливает сапоги. Ноги коченеют. Улукиткан, весь мокрый, лежит на палатке, завернувшись в оленью шкуру...

Уже день. Всех нас приютил настил. На веревке, протянутой над нами, висят мокрые постели, портянки, одежда. Груз свален горой. Василий Николаевич помешивает варево в котле, отбрасывая в воду накипь. Геннадий сушится. Он сидит в трусах, вытянув к печке руки с мокрыми штанами. Его голова беспомощно клонится на грудь, штаны горят, но руки, словно заочневшие, продолжают держать их возле печки.

– Горишь!.. – кричит Василий Николаевич.

Геннадий пробуждается, тычет штанину в воду меж бревен и засыпает. Старики пьют чай. У каждого из них эмалированный чайник. Заваривают крепко, дочерна, и пьют только свежий.

Ко мне подошла Бойка.

– Что, собака, жаловаться пришла? Или непогоду чуешь? – спросил я.

Умное животное ластится и печальными глазами смотрит на меня.

Наледь пухнет и жидким тестом расплзается по ущелью.

– Я думаю, наше дело хорошо, – говорит Улукиткан. – Вода близко, мясо варим, чай пьем, работы никакой, все равно что бурундук в норе, – и старик громко смеется.

Он за свою долгую жизнь, вероятно, не раз отсиживался у наледи, боролся с пургой и попадал в более сложную обстановку. Жизнь приучила старика ничему не удивляться.

За высокий хребет упало солнце. В печке шалит огонь, перебирая пламенем сушняк. Каждый погружен в свои думы. Скучно оттого, что ограничены движения, что мысли прикованы к этой проклятой наледи, оборвавшей наш путь. По ущелью разливается густой сумрак, окутывая обветшалые скалы седой дымкой. Одиноким огоньком загорелась на юге звезда. У нас у всех подавленное настроение. При взгляде на наледь, медленно, но упорно ползущую по долине, ощущаешь какую-то приниженность. Маленьким кажешься сам себе перед стихией. Если бы не случай с группой Королева на Алгычанском пике, мы, конечно, были бы давно в верховьях Май. Для подразделений экспедиции в тех условиях, в каких работаем мы, пожалуй, одна из трудных задач – добраться до места работы, не бросив груза, сохранить бодрость духа у людей и работоспособность у оленей. Тут-то природа и обрушивается на разведчиков, нагромождая на их пути препятствия и строя «ловушки», вроде той, в которую попали мы. Так запоздала не только наша группа, на южном участке еще не добрались до своего района работы несколько подразделений, и они, видимо, так же, как и мы, претерпевают большие неприятности.

Ночь прикрыла ущелье. Мы продолжаем бодрствовать. В печке потрескивают дрова. Улукиткан вдруг затянул на одной жалобной ноте эвенкийскую песню: ему, видно, невольное томительное молчание, и он тянет свою песню долго, однообразно, перебирая высохшими губами непонятные нам слова. Кажется, что однозвучная песня доносится из темноты и поют ее обездоленные скалы, жалуясь на свою тяжелую судьбу, да старушка тайга, общипанная буйными ветрами. Нет в этой песне радостных звуков ласки, как нет их и в суровой природе, где она родилась.

– О чем ты поешь, Улукиткан? – спросил я его.

– Эко не знаешь! Эвенкийской песня постоянный слова нету, каждый раз новый. Что сердце чувствует, что глаз видит, что ухо слышит, о том поет, – ответил он.

Вырвавшееся из трубы пламя на миг осветило настил и ярким отливом позолотило снежную. Укладываемся спать. Проводники располагаются возле печки, Василий Николаевич и Геннадий зарываются между тюками, а я забираюсь в спальный мешок и, скорчившись между собаками и крайними бревнами настила, пытаюсь, но не могу уснуть. На голову текут бледные лучи звезд, их все больше, они горят ярче, как бы торопятся воспользоваться темнотой до появления луны. Черные силуэты скал, похожие на древних старцев, склонились над нашей стоянкой. Все сковано холодным дыханием северной ночи. Тихо. Только наледь бурчит, лениво переваливаясь по колоднику, да в лесу рождаются глухие стоны, и тогда кажется, что кто-то бесшумно бродит возле настила.

Утром всех нас разбудил Улукиткан.

– Наледь кончилась, олень сам сюда идет.

Мне ничего не видно, но слух улавливает мелодичные звуки, просачивающиеся сквозь лес. Это бубенцы на оленях мирно перекликаются в утренней тишине.

Наледь действительно исчезла. Вода где-то выше нашей стоянки промыла проход и ушла в русло, оставив после себя нетолстую корку ноздреватого льда. Один за другим появляются олени.

Улукиткан достает из своей потки замшевую сумочку, величиною с варежку, с прикрепленными по краям когтями медведя, рыси и белохвостого орлана. Он трясет ею в воздухе, и когти, ударяясь друг о друга, издают дребезжащий звук. Услышав его, животные бросаются к настилу, лезут наверх, вытягивая черноглазые морды. Старик шепотками достает из сумочки

соль, кладет под губу каждому оленю и, улыбаясь, что-то шепотом рассказывает им на своем языке.

Василий Николаевич возится у печки – готовит завтрак. Остальные берутся за топоры, вырубая из-под льда нарты, очищают полозья и укладывают груз. У всех одно желание – скорее бы вырваться из этой западни.

Через два часа мы готовы продолжать путь. Улукиткан по-хозяйски проверяет упряжки на оленях и грустным взглядом осматривает ущелье, словно впереди, за крутым поворотом, нас ожидает еще большая неприятность.

– Однако, скоро надо идти, сколько сил олень хватит, близко корма нет, – говорит старик, выводя оленей.

За ним выстраиваются остальные. Мы трогаемся. На месте стоянки, среди заиндепевших елей и скал, остаются настил да надпись на свежем пне о нашей вынужденной задержке.

Олени дружно бегут вперед, и снова мы слышим подбадривающий голос Улукиткана.

– Мод... мод... мод...

Наш путь, как и вчера, идет по дну Купуринского ущелья, сдавленного цепью полуразрушенных гор. Уж очень мертво и тесно в этой щели. Но скоро нагрянут потоки горных вод, взрвут пробудившиеся перекааты, обдавая густой пеной валуны и черные скалы, которые преграждают ей путь. Еще более неприветливо станет в ущелье от постоянной сырости, от мрака, от несмолкаемого рева разбушевавшейся реки.

Но сейчас в ущелье спокойно. Весело заливаются бубенцы на передних упряжках. Дружно стучат копытами олени. Поют полозья. Ничто не омрачает сегодняшний день. Кажется, природа смирилась с нашим присутствием.

Улукиткан, однако, с беспокойством поглядывает на горы и все настойчивее поторапливает оленей. Когда животные, устав, замедляют ход, он соскакивает с нарты и бежит рядом с ними, мелко перебирая ногами по льду. «Надо скоро идти, сколько сила олень хватит», – вспоминаю я его слова.

А погода неожиданно изменилась. Разыгравшийся ветер вихрем врывается в ущелье, свистит и воет по щелям скал, но вдруг исчезает, оставив после себя еще долго качающиеся деревья.

Едем по замерзшей наледи шагом, и чем выше поднимаемся, тем тоньше становится лед, прикрывающий пустоту, образовавшуюся после исчезновения воды. Олени и нарты стали проваливаться. Караван разорвался, участились остановки. Ноги передних оленей начали кровоточить.

– До корма далеко? – спрашиваю я Улукиткана на одной из остановок.

– Далек... Эко худой дорога, однако, не дойдем.

Старик устало присаживается на корточки возле нарты.

Олени топчутся на месте, намереваясь лечь, но под ногами дробный лед.

– Может, передохнем часа два?

– Отдыхай не могу, сегодня тут ходи худо, а завтра совсем не пройдем, – отвечает Улукиткан, вскакивая, словно пробуждаясь от дремоты. Он лучше нас знал цену времени и, наверное, не раз за час промедления расплачивался сутками. Только этим и можно объяснить его пренебрежительное отношение к своей усталости.

Подтягиваем отставшие нарты, просматриваем груз и трогаемся дальше. Проводники ведут оленей, а мы на лыжах проламываем лед. Уже скоро и день на исходе, а вокруг все одна и та же картина: за поворотом – поворот, за россыпью – россыпь, под ногами хрупкий лед. Олени окончательно выбились из сил, плетутся кое-как, опустив низко головы. Люди тоже устали.

К концу дня под верхней коркой льда появилась вода. След обоза залит кровью от ран на ногах оленей. Нужно бы остановиться, до корма все равно не доехать сегодня, но место очень узкое и неудобное: справа и слева россыпь. Впереди километрах в полутора виден лос-

куток низкорослого ельника, растущего по карнизам невысокой скалы. Решаем любой ценой пробиться до него. Бедные животные! Только преданность человеку может заставить их идти дальше.

Сумрак быстро окутывает ущелье. В темноте теряется ельник. Над нами медленно ползет туман, цепляясь за уступы и камни. Путь кажется невероятно тяжелым. Одежда на нас промокла и обледенела. Голод мучает всех. Жаль и людей и оленей, но нужно идти. Там, возле ельника, мы рассчитываем обсушиться и дать передышку животным. Из каких-то неведомых источников вливается в уставший организм крохотными долями сила. И мы идем.

Последний отрезок дороги кажется непосильным испытанием. Цепочка обоза разорвалась и растерялась в темноте. Василий Николаевич подрубает лед, ломает и крошит его лыжами. Мы с Геннадием помогаем оленям протаскивать нарты. Сзади слышится крик и ругань Улукиткана. Лиханов давно отстал. Все же мы добираемся до ельника.

Полночь. На небольшой площадке под скалою горит костер. Вспыхнувшее пламя осветило безрадостную картину: на кромке льда вповалку лежат олени, разбросав как-то по-детски друг на друга ноги, головы; там же виднеется трое заледеневших нарт – лишь их нам удалось дотащить до ельника. Костер окружают уснувшие люди. Все ближе прижимаясь к костру, крепко спят старики. Василий Николаевич и Геннадий беспрерывно ворочаются, отбиваются от наседающего с внешней стороны холода. Одежда у всех парится. Я дежурю. На моей обязанности поддерживать огонь и следить, чтобы у спящих не загорелась одежда. Сон наваливается непосильной тяжестью, глаза смыкаются. В глубине кармана нахожу давно забытый сухарь, очищаю его от мелкого мусора и ем крошечными порциями. Как это вкусно! И пока грызу сухарь, сон щадит меня. Кажется странным, что где-то далеко-далеко, за пределами мрачного ущелья, люди живут в спокойствии, страдают бессонницей, едят строго по расписанию, не знают физической усталости, наледей, бурь.

Что же заставляет нас отказаться от удобств, что толкает нас в этот холодный и совсем неустроенный край, где еще властвует дикая природа, где почти каждый шаг человека требует упорства, борьбы?!

Конечно, не ради приключений мы ломаем лед, пробиваемся сквозь пургу, терпим неудачи, – все это делается во имя человеческой культуры, в силу уже давно выработавшейся привычки раздвигать собственными плечами преграды, стоящие на пути к обузданию природы. И как бы тяжел ни был наш путь, мы пойдем дальше, даже заранее зная, что нас ждут впереди еще большие препятствия, неприятности.

Природа умеет защищать свою первобытность. Путешественнику при столкновении с ней приходится много пережить горестных минут, неудач и разочарований. Но можно ли противопоставить все эти трудности тому огромному чувству удовлетворения, которое испытываешь, достигнув цели. Какое счастье с высоты видеть побежденное пространство с обнаженными долинами, с ясным контуром лесов, со сложным рисунком изорванных отрогов. Как приятно, стоя на вершине неизвестного гольца, дышать холодным воздухом, навеянным из цирков, лежащих далеко внизу, любоваться необозримой далью!

Проснулись поздно. Ветер рвет в клочья край черной тучи, поднимает с земли столбы снежной пыли. Мышцы, спина болят, будто после кулачного боя. Но нескольких движений, куска отваренного мяса и пары кружек чаю с горячей лепешкой оказалось достаточным, чтобы восстановить силы. Только Улукиткан ел плохо. Осунулся, почернел, его глаза слепит усталость. Все же он и теперь не теряет бодрости духа.

– Ленивому человеку – сон; оленю – ягель; нам бы сухую тропу, – шепчет он, заворачивая ногу в портянку.

Мы подтаскиваем к стоянке брошенные ночью нарты, чиним их, укладываем груз, поднимаем оленей. Жалко смотреть на изнуренных животных. Мороз выгнул горбом их полношерстные спины, высушил глаза. След лямок глубокой бороздой обхватил худые шеи. Олени с тру-

дом передвигают пораненные ноги, безропотно подчиняясь проводникам. Только два оленя не встают, их лежки в крови. Улукиткан осмотрел обессилевших животных, ощупал бока, заглянул в глаза и снял узды. Я понял, что вести этих оленей дальше уже нет смысла. Старик заботливо приставил освободившуюся нарту к скале.

– Другой люди когда-нибудь тут ходи – возьмут ее. Человек не должен свой труд зря бросать, – ответил он на мой недоумевающий взгляд.

В десять часов обоз тронулся дальше. Животные еле плелись по колкому льду. Брошенные олени вдруг встали, повернули головы и долго смотрели нам вслед. В моей памяти надолго запечатлелась эта картина: край скалы с низкорослым ельником, дым догорающего костра и два обреченных оленя, наблюдающих за удаляющимся караваном.

Потребовалось еще шесть дней, чтобы преодолеть последние двадцать пять километров расстояния до перевала. К концу дня тридцать первого марта, совершенно обессилевшие, добрались до одной из разложин реки Купури. Капризное ущелье осталось позади. Над нами раскинулось голубым шатром небо. Горы расступились и широкой панорамой окружили стоянку.

Вокруг светло и просторно. Олени бродят по глубокому снегу в поисках корма.

Василий Николаевич шарит по нартам, распаковывает свои потки, что-то достает и с таинственным видом таскает в палатку. Геннадий незаметно следит за ним, пряча в складках губ улыбку. Старики пилят на ночь дрова и тихо бормочут по-своему, поглядывая на Василия Николаевича. Вечереет. Солнце краем своим выглянуло из-за сопки и скрылось, озарив багровыми лучами крутой склон перевала.

Синеватая дымка смягчает очертания заснеженных хребтов. По склонам гор ползет туман. Темнеет. В вышине парит одинокая птица.

– Пора ужинать, – говорит Василий Николаевич и кричит проводникам: – Деды, зайдите на минутку, есть разговор.

Неохота покидать костер. Хорошо возле него, тепло, уютно. Смотришь, как огонь съедает сушняк, как в синем пламени плаваются угли, и все тело охватывает ощущение такого блаженного покоя, что не хочется даже рукой пошевелить.

В палатке жарко. На высоком колышке горит свеча.

– Вы зачем кружки принесли? – спрашивает Василий Николаевич стариков.

– Ты звал поговорить, а без вина разговора не бывает. Пришли со своей посудой, – ответил Лиханов, откровенно взглянув на него.

– Спирта нет, – решительно заявляет Василий Николаевич.

– Есть, – говорит проводник и вкрадчиво улыбается, – моя хорошо смотри, как твоя спирт наливал в бутылку.

– Глаза малюсенькие, а видят далеко, – смеется Мищенко.

Садимся в круг. В мисках душистое парное мясо. Запах поджаристых лепешек, сухой петрушки, лука и без вина будоражит аппетит. Из спального мешка Василий Николаевич достает бутылку со спиртом.

– Надо бы за перевалом ее распить, да разве с вами не согресишь? Держите кружки! – говорит он.

Все улыбаются и внимательно следят, как Мищенко делит пол-литра спирта.

– За перевалом тоже положено, не скупись, лучше другой раз придержишь, – замечает Геннадий.

– У вас не бывает другого раза. Осталось-то всего с литр, поставь его сейчас – и весь выхлещете.

– Ты не грози, возьми, да и поставь, вот и не тронем!

Василий Николаевич, чтобы не рассмеяться, откусывает лепешку, бросает в рот чесночинку и, сохраняя спокойное лицо, долго жует.

Улукиткан, хлебнув из кружки, сузил глаза, поморщился.  
– Языку горько, сердцу худо, брюху тяжело, а пьют. Эко дурнину человек сделал себе! – Старик потешно мигает, будто ему запорошило глаза, и заталкивает в рот кусок мяса.

### **III. Буран в горах. – В лагерь пришли чужие олени. – Поиски неизвестных людей. – Вниз по Кукуру. – Розыски собак. – Лесная письменность**

Утром мы с Улукитканом решили осмотреть подъем на перевал. Геннадий ищет в эфире своих, нервничает, выстукивает позывные: вероятно, нас опять потеряли и, конечно, беспокоятся. Василий Николаевич с Лихановым отправляются за оставшимся грузом.

Мы со стариком идем на лыжах. На небе ни единого облачка. Даль прозрачная. Яркие лучи солнца слепят глаза. За границей леса снег сухой, глубокий – выморожен стужей. Старик изредка запускает в него палку и, не достав дна, неодобрительно качает головой.

– Однако, олени не пройдут, дорогу топтать нужно.

Взбираемся на перевальную седловину, оглядываемся и, пораженные картиной, долго стоим молча. Под нами лежат многочисленные отроги Джугдырского хребта, заснеженные, прочерченные причудливыми линиями глубоких ущелий. Кое-где на гребнях торчат одинокие скалы-останцы; на дне долины, словно заплаты, виднеются темные лоскуты ельников, а правее, за водораздельной грядой, блестит обледенелая вершина неизвестного гольца. Горы, постепенно понижаясь, убегают вдаль и тонут в синеватой дымке.

Улукиткан усаживается на лыжи и, обняв колени, смотрит вниз, как бы разбираясь в сложном рисунке рельефа. Я достаю записную книжку, опускаюсь рядом.

Далеко внизу лежит тайга. Странное впечатление оставляет она. Обычно при этом слове невольно перед глазами встают древние, могучие леса Приенисейской Сибири, живописных гор Восточного Саяна, юга Забайкалья, Уссурийского края. Они растянулись на сотни, а то и тысячи километров – высокоствольные, замшелые, затянутые непролазной чащей и заваленные буреломом.

Совсем недавно мне пришлось совершить короткое путешествие по тайге Кузнецкого Ала-Тау. Огромные пихты и ели, убранные седыми прядями бородавчатого мха, лохматые кедры, великаны сосны, перемежаясь с белоствольными березами и сухостойным лесом, растут там дружно, стройно и так тесно, что старым деревьям нет места даже для могилы. Они умирают стоя, склонив изломанные вершины на сучья соседей. Только с топором в руках и можно провести караван через этот поистине могучий лес, покрывающий огромные территории гор Ала-Тау.

В своем дневнике я тогда записал: «В верховьях Томи деревья растут толстенные, а некоторые к тому же достигают почти сорокаметровой высоты. Зайдешь под непроницаемый свод гигантского леса, и тебя охватит мраком, сыростью. Воздух насыщен винным запахом тлеющих листьев. Постоянно увлажненная почва завалена валежником да обломками отживших и сваленных бурей деревьев. Нет там звериных троп. Туда не проникают порывы ветра, не заглядывает солнце. Ни цветов, ни травы. Только кое-где ютятся мелкий папоротник да жалкие кусты бесплодной смородины. Слух не потревожат песни птиц, не привлечет внимание шустрая белка или бурундук, не вспорхнет из-под ног рябчик. Даже медведь, владыка старых лесов, и тот избегает чащу, и только в осеннюю пору, когда поспеют орехи, можно увидеть его след в кедровнике. Лес и лес, без конца и края. И как радуешься, если увидишь сквозь поредевшую крону деревьев кусочек неба или свет полуденного солнца, пробившего своим лучом листву!»

Человек, попавший в эту тайгу, может легко сбиться с нужного направления, потерять счет времени и, пробираясь сквозь колючие завалы, быстро измотать свои силы. Так случилось с нами в лесах Ала-Тау. Потеряв ориентировку в туманный день, мы долго бродили по чаще,

обходя россыпи, топи, а края тайги все не было видно. Как мы тогда обрадовались, увидев впереди полосу света сквозь поредевшие кроны деревьев и услышав отрывистый свист пеночки-трещотки!

Другая тайга виднеется сейчас внизу. Кроме чувства сожаления, она ничего не вызывает у человека, видевшего могучий высокоствольный лес Кузнецкого Ала-Тау или Саяны. Дружные ветры разметали ее по огромному пространству. Чахнет она по вечно стылým долинам. Только берега рек окаймляют узкие полосы густого леса. За ними лежат заболоченные, кочковатые равнины с мерзлотной подстилкой, или мари. В этих таежных лесах растут лишь сучковатые низкорослые лиственницы. Деревья поражают своей удивительной жизнестойкостью. Они чудом удерживаются на мягкой подушке топей. Растут на скалах, россыпях, по крутизне, присосавшись корнями к камням и уступам. Даже взбираются на вершины гор. Отдельные лиственницы встречаются и в цирках, куда никогда не заглядывает солнце. Лес очень бедный, почти без подлеска. В лучшем случае «пол» затянут ерником или багульником.

– Летом тут, на перевале, по горам густой стланик, шибко густой, даже ходить не могу. Теперь он под снегом, скоро покажется, – говорит старик, болезненно щуря глаза от яркого снега, отбеленного солнцем, и непрерывно протирая их пальцами. – Туман, что ли? – вдруг спросил он.

– Нет, погода хорошая.

– Как хороший? Смотри, горы не видно, куда его ушел...

– Все видно, Улукиткан – и горы и даже дым в лагере. Покажи-ка глаза.

– Не надо, – сказал он спокойно, прикрывая лицо ладонями и опуская голову, – однако, слепой стал, надо скорее палатку ходить.

Старик перевязал глаза платком, оставив снизу узкую щель, и мы, не задерживаясь, спустились вниз. Василий Николаевич и Лиханов уже вернулись с грузом и привели оставленных на предпоследней стоянке оленей.

Улукиткан ослеп от яркого снежного света. Это было тяжелым дополнением ко всем нашим дорожным неприятностям. Мы не захватили с собой запасных очков с затемненными стеклами, а у проводников своих не оказалось, и они вынуждены были ходить с незащищенными глазами в солнечные дни. Вот и результат!

Ночью снова разыгралась пурга. Завыл ветер, будто рассказывая темной ночью про свою незавидную долюшку. Всколыхнулась, закачалась тайга. Она шумит прерывисто: то рядом, то ниже, то вдруг стихнет, но ненадолго.

Ветер находит щелки, выстуживает палатку, пробирается в постели. Спим долго, но чутко. Вот уже и утро наступает, а из спального мешка вылезать неохота. Холодно! Сквозь дремоту слышу, как Василий Николаевич бросает в печку стружки, дрова, чиркает спичкой.

Сразу потеплело, хочется вытянуться, расправить конечности. Палатка с трудом выдерживает напор ветра, часто меняющего направление. Он задувает в трубу и выбрасывает внутрь нашего убежища из печки дым вместе с пламенем. Дышать становится трудно...

– Можно? – кричит Николай Федорович, отстегивая вход и проталкивая Улукиткана. – Дрова у нас кончились, пришли погреться.

Мы встаем.

– Как твои дела, Улукиткан? – спрашиваю я старика.

– Мала-мала плохо...

– Он постоянно весной слепнет, привык, – говорит Лиханов, распахивая доху и подсаживаясь к печке.

– Плохая привычка, придется задержаться. Куда со слепым поедешь?!

– Нет, – перебил меня Улукиткан, – слышишь, ветер туда-сюда ходит, пурга скоро кончится. Дорогу надо делать. Иначе не подняться с грузом на перевал.

– Это не твоя забота – дорога! – сказал я.

– Беспокойный ты человек, Улукиткан, все торопишься, спешишь, так на бегу и умрешь, – добавил Василий Николаевич.

Старик задумался, прошептал:

– Правда, смерть жадная, все бы забрала, да жизнь сильнее ее. Больная птица от стаи не хочет отстать. Так и я.

– Тебе горячий чай наливать?

– Эко спрашиваешь, Василий, кому нужен зимою чум без огня? – И он, пожевав пустым ртом, сослепу протягивает руку и ищет в воздухе кружку.

Буран ослабел. Я вышел из палатки. У лагеря собрались олени и, расположившись на снегу, пережевывают корм. Высоко проносятся прозрачные клочья туч, роняя последние остатки снега. Они жмутся к вершинам гор, прячутся по седловинам и падают на дно ущелий, но упрямый ветер срывает их, гонит дальше на запад. На горбатую вершину гольца выползло солнце, теплым лучом коснулось моей щеки. Кажется, нигде оно не бывает столь желанным и необходимым, как именно здесь, среди безжизненных откосов туполобых гор. В этом крае извечно властвуют бури, от стужи цепенеет почва, камни и даже воздух. Зима длится около семи месяцев, морозы доходят до пятидесяти пяти градусов. Тайга как будто смирилась с суровым климатом, и все же кажется, не живет она, а мучится.

После завтрака решили прокладывать дорогу. Пригнали все стадо, отобрали пару лучших оленей и к ним привязали остальных – поодиночке, друг за другом без нарт. Впереди идут на лыжах Василий Николаевич, Николай Федорович, а за ними тянутся в две шеренги олени.

– Борозду делайте поглубже, дорогу положе, – кричит из палатки Улукиткан.

Олени идут дружно, оставляя позади себя широкую полосу взбитого снега, но подъем становится все круче, а снег глубже, и животные начинают сдавать. Из их открытых ртов свисают языки, дыхание напряжено до предела. Животные передвигаются рывками, прыгают, заваливаются, путаются, а некоторые уже тащатся волоком. Через каждые пять минут отдыхаем. Наконец, передние олени начали заваливаться. Слышатся понукания, ругань, глухие удары, но это не помогает.

– Видно, не промять нам дороги. До перевала далеко, – говорит Василий Николаевич, сочувственно поглядывая на животных.

– Ничего, отдохнут, потом пойдут, – упрямится Николай Федорович. Он тянется к Геннадию за кisetом и скручивает длинную козью ножку. Курят молча.

Олени никак не отдышатся, но их круглые черные глаза по-прежнему теплятся покорностью.

Угрозами, пинками поднимаем животных, выстраиваем и заставляем лезть на сугробы перемерзшего снега. Прибавилось еще сто метров борозды, но тут олени валяются друг на друга, и ничем уже нельзя заставить их подняться. А ведь еще остается с километр крутого подъема. Надо бросить оленей и самим заканчивать прокладку дороги. А за это время животные отдохнут и легко пройдут нашим следом.

Кажется, нет утомительнее труда, чем мять дорогу по глубокому снегу, покрытому твердой коркой. Вначале мы идем на лыжах, но это очень неудобно: ноги проваливаются по колено, лыжи набегают одна на другую. Часто падаем, зарываясь в холодный снег. Лыжи сняли. Подвязываем повыше унты, чтобы снег не засыпался внутрь, снимаем фуфайки и пробиваемся к перевалу. Идем молча. При такой работе человек обо всем забывает. Тут уж не до разговоров, не до шуток.

Сухой полуметровый снег, как сыпучее зерно. Мы утопаем в нем по пояс. Иногда из-под ног вырываются жесткие ветки стланика, бросая в лицо холодные комки и перегораживая путь. До седловины остается немного, метров четыреста, но силы покидают и нас. Лиханов возвращается к оленям, а мы упорствуем, надеясь вырваться на перевал.

– К черту все! Я дальше не иду. – Геннадий в изнеможении падает.

Василий Николаевич, весь мокрый от пота, устало смотрит на седловину и непрерывно глотает снег.

– Зря, простудишься, что за детская привычка у тебя, Василий! – говорю я ему, а самому страшно, хочется бросить в рот кусочек льдинки, освежить пересохшее горло.

– Не простужусь, привычный, плохо другое: слабею от него, да и пот одолевает. Мокрый, как загнанный конь, а не могу сдержать себя.

Оттого, что солнце уже клонится к горизонту, все кругом кажется затянутым неуловимой дымкой, словно в кисею закутался свет. Василий Николаевич и Геннадий покурили и, отдыхая, дремлют.

Мое внимание привлекает необычайное зрелище: по затвердевшему снегу ползет хромой паук-крестовик, волоча большую ногу. Но он не один, его обгоняют другие паучки, черные и очень шустрые. Странно, как они попали сюда и куда идут? Кругом ведь снег. Я стал присматриваться и увидел вокруг нас тысячи насекомых, передвигающихся прыжками, как блохи, в том направлении, куда идут пауки. По величине они совсем крошечные, даже невозможно рассмотреть невооруженным глазом, но их так много, что снег кажется подернутым сизой пылью. Вероятно, всю эту массу насекомых и пауков сдуло ветром с деревьев, больше им неоткуда взяться. Они двигаются на запад, спешат к солнцу, источнику тепла, будто понимая, что скоро оно погаснет.

Неужели это вестники весны, разбуженные обманчивым солнцем? Хочется верить, что и здесь, среди заснеженных гор, будет тепло, зелено, зашумят ручьи, пробудится большая жизнь и мы окажемся свидетелями великого перелома в природе. Но пока что кругом зима.

Под перевалом нам повезло: мы вышли на твердый снег и легко добрались до седловины. Василий Николаевич спустился вниз, и через час они с Лихановым вывели наверх оленей по нашему следу.

– Одно дело сделали – проложили борозду, но поднимут ли олени груз по ней? – спросил Василий Николаевич Лиханова.

– За ночь борозда застынет, с нартами идти будет легче, – заверил тот.

Мимо нас бегут белые куропатки, пробираясь по снегу в соседнюю седловину.

– Птица непогоду чует, в затишье идет. Однако, опять буран будет, – говорит Лиханов, с тревогой взглянув на горизонт.

Мы еще не добрались до стоянки, как засвистел ветер, поднялась поземка и снежной мутью окутало горы. Залезаем в палатку и плотно застегиваем вход. Проводники – с нами.

– Эко дурнота прорвалась, теперь надолго, – предсказывает Улукиткан, прикладывая примочку к глазам.

Сегодня ему легче, он сидит без повязки и, как всегда, в своем углу.

– Что задумался, Улукиткан? – спрашивает его Василий Николаевич.

– Гнилое дерево корни держат, а старика – думы. Напрасно дорогу делали, пурга занесет ее. Опять придется оленей гнать, мять снег, вот и тревожусь, – отвечает тот, прислушиваясь к вою ветра.

– Знали бы, не мяли!

– Эко не угадали. Пуля слепая – далеко хватает, люди зрячие – за полдня не видят.

– Не фартовые мы. Дня бы за два раньше тронулись с косы, глядишь, и проехали без помех, – замечает Геннадий.

– Тоже правда. Всему свое время. Зима еще не придет, а зверь оделся; на озере льда нет, а птица кочевала. Только люди про время часто забывают.

Ужинаем молча. Голод не любит разговоров. Я наблюдаю за Улукитканом. Он сидит, отвернувшись от печки, молча жует мясо, запивая чаем. Как бережно старик держит в пригоршне хлеб, дорожа каждой крошкой и подбирая ее даже с пола! Маленькими кусочками он откусывает сахар, подолгу сосет его. Когда ест ложкой кашу, то держит под нею ладонь

левой руки, боясь обронить крупинку. Сумочки, в которых он хранит чай, муку, соль и другие продукты, завязаны крепко, на три узла. Это не скупость, а строгая бережливость, воспитанная всей многотрудной жизнью. Старик так хорошо запомнил, какой ценой и какими лишениями платил в прошлом за фунт муки, за аршин дрянного ситца, что даже и теперь они для него кажутся драгоценными. Об этом ему всегда напоминают неразгибающаяся спина, больные ноги, скрюченные в суставах пальцы, шрамы на затылке от когтей медведя.

В печке шалит огонь. Слышно, как старики дробят ножами кости и высасывают ароматный мозг. Василий Николаевич уже дважды кипятил чай.

Всю ночь бушевала непогода. Спали тревожно. В печке до утра не гас огонь.

– Эко спите долго, поднимайтесь, беда пришла, – слышится голос Улукиткана.

Все вскакивают. Уже утро. Старик расстегивает вход, пролазит боком внутрь и окидывает всех тревожным взглядом.

– К нашему стаду чужие олени пришли, однако, на перевале люди пропадают, – говорит он, бросая на «пол» куски чужих ремней, расшитых цветными лоскутами.

– Кто-нибудь пришел?

– Нет. Видишь от лямок куски остались? Когда человек замерзает, он не может развязать на олене ремни, режет ножом. Как так, ты много тайга ходишь, догадаться не можешь! – упрекает он меня.

– Кто же это может быть?

– Однако, Лебедев. Другой люди тут нет. У него работают олень Ироканского колхоза. Их метки я хорошо знаю. Искать Лебедев надо. Шибко скоро искать, погода худой... Однако, вечером он был под перевалом, да не успел перевалить. Иначе увидел бы примятую дорогу, сюда пришел.

Догадка Улукиткана у всех вызывает тревогу. Решаемся идти на перевал вдвоем с Василием Николаевичем. Нельзя оставаться в неведении, не узнав, что случилось с людьми. А буран, как назло, разыгрался, грозит сорвать палатки и разметать наш лагерь. В такую погоду, если человек не успеет устроить себе убежище, упустит момент и не добудет огня раньше, чем зачоченеют руки, он погибнет! Нужна исключительная сила воли, чтобы противостоять пурге, застигнувшей тебя в открытых горах, да еще на перевале. Мы хорошо помним буран на Джугдырском хребте и знаем, как обезоруживает человека холод.

Собираемся быстро. В котомки кладем топоры, по горсти сухарей, куску мяса, котелок, аптечку, сверток березовой коры, меховые чулки. С нами идут Бойка и Кучум. Улукиткан, присев на корточки, молча следит за сборами.

– Где же нам искать их? – спрашиваю я.

Старик смотрит на меня в упор, и я чувствую, что в нем происходит какая-то борьба.

– Пурга шибко большой, кругом ничего не видно, блудить будете, пропадете. Однако, я пойду с вами.

– Что ты, Улукиткан, не заблудимся, в крайнем случае собаки выведут. А тебе куда по такому ветру?

– Пойду, маленько дождидай, – решительно произносит он, выползая наружу. Выходим следом за ним и пытаемся уговорить старика остаться. Но он настаивает на своем.

– Ты как хочешь, а мой пойду, не могу оставаться в палатке, когда люди пропадают, – твердит он нервно, заталкивая в котомку маут<sup>31</sup>.

– А его зачем берешь?

– Маут обязательно нужно. На перевале шибко ветер, все привязываться будем.

Этого мы, конечно, не предусмотрели.

---

<sup>31</sup> Маут – длинный тонкий ремень для ловли оленей.

На старике латаные штаны, сшитые из тонкой лосины, опущенные поверх унтов и перевязанные внизу веревочками. Все та же старенькая дошка, теперь уже почти без шерсти, загрубевшая от постоянной стужи. Она торчит коробом на спине, не сходится спереди и завязывается длинными ремешками. Грудь, как всегда, открыта, шею перехватывает старенький шарф.

– Ты так хочешь идти? Без телогрейки? – удивляюсь я.

– Хорошо, мороз догоняй нету, – шутит старик, набрасывая на плечи котомку.

Пурга скоблит склоны гор, наметая длинные сугробы. Ничего не видно. Идем вслепую, придерживаясь подъема и полузасыпанной борозды промятой дороги. Встречный ветер выворачивает из-под ног лыжи. Улукиткан отстает. Сгорбившись, он подставляет стуже то одно, то другое плечо, прикрывает лицо рукавицами, часто отворачивается, чтобы перевести дух, и, наверное, страшно мерзнет в своей убогой одежонке, а теплее одеться не захотел.

«Зачем он идет? Зачем подвергает себя таким невероятным испытаниям?» – думаю я, а в душе зависть. Какую суровую школу нужно было пройти этому человеку, чтобы в восьмидесятилетнем возрасте сохранить страстную любовь к жизни! Это она заставляет его сердце биться, спасает от проклятого холода, толкает лыжи вперед, отгоняет старческую немощь...

Перед перевалом ветер набрасывается рывками, слепит глаза. Идем тихо, будто тащим на гору тяжелый груз. Улукиткан выбивается из сил, часто падает, лыжи парусят и не дают ему встать без посторонней помощи. Пришлось достать маут, связаться им и цепочкой брать последний подъем. Впереди идет Василий Николаевич, за ним – я, а старик за моей спиной тащится на поводке, тяжело передвигая лыжи.

В седловине стало еще хуже. Ветер, как в трубе, гудит, мечется. Мы подбираемся к левому склону перевала и под защитой огромного камня останавливаемся отдохнуть.

– Проклятый холод тело царапает, будто не видит, что на мне одна парка<sup>32</sup>, – шепчет Улукиткан посиневшими губами.

Куда идти? Где найдешь следы людей, если сквозь буран дальше пяти метров ничего не видно? Кричать бесполезно: никто не услышит... Не знаю, чем бы кончились эти поиски, если бы сама природа не сжалилась над нами.

Совершенно неожиданно буран оборвался, передохнул и ударил с тыла. В воздухе произошло странное замешательство. Словно табун диких коней, застигнутый врасплох, тучи вздыбились, падали на горы и исчезали. Пурга удирала на запад и оттуда грозилась расправой, ветер метался по седловине, не зная, куда деться.

– Крутит – хорошо, однако эскери карты перетасовал, погода будет, – подбадривает нас Улукиткан, беспокойно поглядывая по сторонам.

Выглянуло солнце. Мы осматриваем седловину, но никаких признаков пребывания здесь людей не находим.

За перевалом – плотный туман. Виден только склон хребта да край леса в глубине ущелья. От него к перевалу тянется прерывистой чертой нартовый след. Метров за двести до верха он теряется среди заледеневших передувов.

– Оргал!<sup>33</sup> – вдруг крикнул Улукиткан, показывая на тонкую палку, торчащую поверх снега. – Однако, тут есть нарты.

Мы спускаемся к оргалу. Василий Николаевич достает топор, рубит заледеневший бугор, под которым действительно лежат нарты. На одной из них – палатка, печь, пила, остальные пусты. Вероятно, обоз, не добравшись до перевала всего лишь две сотни метров, был застигнут пургой. Люди успели только обрезать на оленях лямки и убежали в тайгу, не захватив почему-то с собою палатку и печь, без которых, кажется, совершенно невозможно спастись в такую стужу. Что с ними случилось дальше, трудно даже представить.

---

<sup>32</sup> Легкая оленья дошка.

<sup>33</sup> Длинная палка, которой погоняют упряжных оленей.

Отпускаем собак. Скатываемся вниз. Бойка и Кучум уже далеко впереди несутся полным ходом навстречу ветру. Собаки чуют дым или запах человека. Василий Николаевич бросает мне котомку, снимает телогрейку и мчится на лыжах за ними. Со страшной быстротой он уходит от нас, оставляя позади себя длинную стежку снежной пыли. Нужно не потерять собак из виду.

Нартовый след уходит от нас все дальше влево. Собаки, вероятно, бегут напрямик. Мы спускаемся не торопясь, за лыжней Василия Николаевича. В воздухе чувствуется запах дыма. Наконец мы слышим человеческие голоса.

Нас встречают Бойка и Кучум. Они прыгают, визжат, точно хотят сообщить что-то интересное. Сквозь туман вырисовывается странное нагромождение из хвойных веток, защищенное от ветра беспорядочно наваленными деревьями. Мы подходим ближе.

– Пресников! Здравствуй! Ты как сюда попал? – узнаю я лебедевского десятника.

– У нас за перевалом оставлен груз, едем за ним, да немного промешкали, буран захватил на гольце, – отвечает он, не менее удивленный нашим появлением.

У костра, под замкнутым навесом из хвои, скорчившись под ватным одеялом, лежит маленький человек. Голова его перевязана красным лоскутом, в быстрых соболиных глазах – боль, губы кровоточат. Узнав Улукиткана, он с трудом приподнимается и молча протягивает ему маленькую, почти детскую руку, вспухшую от волдырей. Старик присаживается, и между ними завязывается разговор.

Пресников, кивнув головою на больного, начинает рассказывать:

– Наш проводник. Одежка на нем плохонькая, не по климату, а новую телогрейку и брюки, вишь, не захотел надеть, пожалел, оставил в лагере, вот и прохватило на гольце, за малым не пропал! Поднимаемся это мы на перевал, вижу, мой Афанасий не встает с нарт. Я к нему, а он уже не шевелится, что-то бормочет, застыл. Хотел оленей повернуть обратно в тайгу, они запутались в ремнях, ни туда ни сюда. А от ветра нет спасения. Конец, думаю, и тебе, Пресников. Обойдешься без похорон. Оленей все же решаюсь отпустить, – при чем тут животное? Но руки заоченели, не могут развязать лямок. Хорошо, что на боку нож. Перерезал ремни, а самому пропадать неохота, схватил постель, топор – и с Афанасием вниз. Где волоком его протащу, где на себе. А он не может идти, замерз. Ну и помаялся я с ним! Кое-как дотащился сюда, разжег костер, давай мужика снегом растирать, а он кричит благим матом, значит руки, ноги зашлись.

– Чего же вас понесло в такую непогоду на хребет? Не впервые же ты в тайге, – задает вопрос Василий Николаевич.

– Моя вина, Афанасий предупреждал: пурга будет, а я понадеялся на свою силу, думаю, успеем перевалить. Настоял на своем. Сам бы пропал, уж поделом, а ведь человека погубил бы зря...

У костра тепло. Мы отогреваемся. Развязываем котомки, угощаем товарищей мясом, сухарями. Пьем чай. Улукиткан и Афанасий разговаривают безмятежно, будто во всем случившемся нет для них ничего необычного. Жители этого сурового края, вероятно, свыклись со всеми капризами природы, с ее беспощадностью к человеку. То, что многим из нас кажется удивительным, порой даже чудовищным, для них потеряло свою остроту, стало неизбежностью. Здесь чаще, чем в других местах, люди встречаются со смертью. Они привыкли спокойно смотреть ей в глаза.

Пока я занимался больным, обмывал раны, делал перевязку, Василий Николаевич с Пресниковым успели притащить с перевала нарту с вещами. Мы поставили палатку, установили печь, напилили дров и ушли. Афанасий остался один; к ночи придет к нему Геннадий, и они тут дождутся нас с обозом.

Через день, захватив лебедевский груз, мы покинули верховья Купури. Промятую нами три дня назад дорогу хотя и занесла пурга, но подниматься по ней было легче, чем по целине. Да

и олени за эти дни немного отдохнули, шли бодрее. На крутых местах нарты наполовину разгружали и вытаскивали их поодиночке, зачастую сами впрягаясь в лямки или помогая сзади.

Последний раз я смотрю на пройденный путь, скрытый в глубоких складках угрюмых отрогов Джугдырского хребта. Купури не видно, все заслонили набегающие друг на друга уступы снежных гор, и только торчащая далеко внизу бесформенная скала напоминает об этом суровом ущелье. Пережитое нами – тревоги, бессонные ночи – уже потеряло свою остроту. Наши мысли и желания устремлены вперед. Прощай, негостеприимное ущелье Купури!

Перед спуском в Кукурское ущелье задерживаемся, чтобы еще раз проверить нарты и упряжь. Я выхожу на боковую возвышенность. Даль свободна от дымки и тумана. На север и восток открывается обширная панорама гор, облитых снежной белизною. Слева, из-за ближней сопки, вырисовываются отроги Станового, отмеченного полосами темных скал и зубчатыми рядами. Невысокие утесы, сбегая вниз, теснятся по краям извилистых ущелий. Правее же, насколько видит глаз, раскинулись волнистые отроги Джугдырского хребта. Темными пятнами выделяются цирки, по гребням лежат руины скал. Изломанные контуры вершин исчертили край синего неба.

Между Становым и Джугджурским хребтами мы не увидели сколько-нибудь заметной глазу границы. Это один и тот же хребет, может быть несколько пониженный к морю и разделенный только названиями. Нам впервые приходится осматривать Становой так близко с земли. Он поражает своей грандиозностью, крутизной и мрачным обликом. Даже при беглом знакомстве с этой частью хребта уже можно наверняка сказать: здесь нашим людям придется много потрудиться, чтобы разобраться в диком и сложном рельефе.

Когда мы заехали за своими, у них уже была свернута палатка и упакованы вещи. Афанасий чувствовал себя неплохо, хотя лицо и руки его покрылись струпьями. Вероятно, на этом и закончится вся его история с пургою.

Наш путь идет по реке Кукур – самому верхнему из больших Правобережных притоков Май. Едем редколесьем, по нартовой дороге, проложенной обозом Лебедева. Здесь снег мельче, олени идут веселее. Запели полозья, ожили бубенцы. Вокруг нас все млеет под теплыми лучами солнца. Кажется, где-то близко незримо крадется весна. Никогда еще мы не ждали ее с таким нетерпением, как в этот год. Да разве только мы? Уже начал прихорашиваться лес. Ветерок расчесывает у елей густые пряди крон; по-девичьи задорно шумят вершинами березы; лиственницы пахнут разнеженной солнцем корою, а кочки, вылупившиеся из снега, пахнут прогретой прелью. Появились и птицы. Вот на рябине спорит стайка черноголовых синиц, где-то внизу кричит желна и часто попадают на глаза белоспинные дятлы. Их стук, вливающийся в дребезжащую трель, не смолкает в лесу. Сегодня впервые мы почувствовали пробуждение природы, и это будто окрылило нас.

Бойка и Кучум где-то отстали. Караван растянулся. Улукиткан тихо поет, вероятно, про теплый день и благополучный путь. А солнце становится все щедрее. Однообразные звуки бубенцов, скрип полозьев и постукивание копыт нагоняет сон...

Ночуем на бывшей стоянке Лебедева. До лагеря остается день езды.

Вечереет. С гор струится холод. Стая белых куропаток шумливо пронесется над палатками, Направляясь в боковой лог, Василий Николаевич второпях поручает поварское дело Геннадию, а сам с ружьем бежит следом за нами.

Собак все еще нет. Это озадачило меня.

– Кого-нибудь нашли, соболя или колонка, – придут. Ворон мимо трупа не пролетит, собака мимо табора не пробежит, – успокаивает меня Улукиткан.

Я усаживаюсь за дневник, но писать не могу, мысли беспрерывно возвращаются к собакам. А что, если действительно связались с сободем, они же не отстанут от него и завтра, пока кто-нибудь из нас не подойдет к ним. Винить-то их нельзя, они делают свое дело. Наконец мне

становится в тягость неопределенность, беру винтовку и ухожу на ближнюю сопку, в надежде услышать их лай.

Бойка и Кучум наследовали от своих предков, Левки и Черни (в прошлом много лет сопровождавших нашу экспедицию), все качества зверовой лайки: страстность, прекрасное чутье, неутомимость и преданность человеку. Они выполняют у нас большую работу и не раз выручали из беды. Мы по праву называем их своими четвероногими друзьями и не представляем себя в тайге без них. Бойка и Кучум легко улавливают тончайшие звуки, недостижимые для нашего слуха. По их поведению легко догадаться о присутствии поблизости зверя, перемене погоды и о многом другом. Это очень дополняет впечатления о местности, где мы путешествуем, делает наблюдения более полноценными. По лаю собак легко определить, с кем они имеют дело: на рысь, росомаху они нападают напористо, злобно; лося берут мягко, лают прерывисто, иногда с длительной паузой; колонка, соболя, загнанных на дерево или в дупло, облаивают однотонно. Белка их интересует только в сезон промысла.

С вершины, куда я поднялся, видны небольшим полукругом заснеженные хребты. По широкой долине змеится Кукур, врезаюсь бесчисленными вершинами в крутые склоны гор. С юга по его ледяной поверхности тянется тонкой стружкой нартовый след. Солнце багряным кругом вползает в горизонт. Дремлет черная тайга, плотно закутываясь в сизую дымку. С зубчатых вершин спускается темнота.

Я присаживаюсь на валежину и наблюдаю, как гаснет изумрудно-лиловая заря на потемневшем небе.

«У-у-гу... – у-у-гу...» – бубнит протяжно филин.

«Неужели соболя мог их увести так далеко, что даже лая не слышно», – думал я, уже потемну спускаясь с сопки.

В лагере пахнет паленым пером и дичью.

– Не слышно? – спрашивает Василий Николаевич. – Придется утром идти искать. Если у соболя задержались – я им всыплю горячих, отобью охоту с мелочью связываться, – грозит он, помешивая в кастрюле варево, от которого несет перепрелой ягодой и кислотой.

– Опять задержка. Пока доберемся до Кирилла Родионовича, весна будет, – ворчит Геннадий, просовывая в печь общипанную и синюю от худобы куропадку.

После чая Василий Николаевич починил лыжи, достал из потки свисток для рябков, осмотрел его, продул и положил в боковой карман. Добавил в кисет табаку.

Морозная ночь высушила размякший за день снег, сверху его затянуло хрупким настом. Идем с Василием Николаевичем нартовым следом обратно к перевалу. Слева – в полном разливе заря, справа – над горами висит запоздалый месяц, тихо, только под лыжами хруст.

Идем ходко. Мороз щиплет лицо. Следа собак все еще не видно, а уж скоро перевал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.